

Дети мои

Автор:

Гузель Яхина

Дети мои

Гузель Шамилевна Яхина

“Дети мои” – новый роман Гузель Яхиной, самой яркой дебютантки в истории российской литературы новейшего времени, лауреата премий “Большая книга” и “Ясная Поляна” за бестселлер “Зулейха открывает глаза”.

Поволжье, 1920–1930-е годы. Якоб Бах – российский немец, учитель в колонии Гнаденталь. Он давно отвернулся от мира, растит единственную дочь Анче на уединенном хуторе и пишет волшебные сказки, которые чудесным и трагическим образом воплощаются в реальность.

“В первом романе, стремительно прославившемся и через год после дебюта жившем уже в тридцати переводах и на верху мировых литературных премий, Гузель Яхина швырнула нас в Сибирь и при этом показала татарщину в себе, и в России, и, можно сказать, во всех нас. А теперь она погружает читателя в холодную волжскую воду, в волглый мох и торф, в зыбь и слизь, в Этель?Булгу?Су, и ее «мысль народная», как Волга, глубока, и она прощупывает неметчину в себе, и в России, и, можно сказать, во всех нас. В сюжете вообще-то на первом плане любовь, смерть, и история, и политика, и война, и творчество...”
Елена Костюкович

Гузель Яхина

Дети мои

На всю глубину

“Все эти подробности – откуда?! У меня же от них чуть живот не свело. Я же все это – как своими глазами увидел, собачий ты сын! Шекспир ты нечесаный! Шиллер кудлатый! Что там такое творится – в этой твоей косматой немой башке, а? Что за черти в тебе сидят? – Подскочив к Баху, Гофман по привычке придвинул свое прекрасное лицо вплотную, задергал ноздрями, затрепетал ресницами”.

Вот уже второй раз мы кричим это Гузель Яхиной, по привычке придвигая к ее строкам наши прекрасные лица. Оторваться не можем. Дальше читаем – больше изумляемся. В первом романе, стремительно прославившемся и через год после дебюта жившем уже в тридцати переводах и на верху мировых литературных премий, Яхина швырнула нас в Сибирь и при этом показала татарщину в себе, и в России, и, можно сказать, во всех нас. А теперь она погружает читателя в холодную волжскую воду, в волглый мох и торф, в зыбь и слизь, в Этель?Булгу?Су, и ее “мысль народная”, как Волга, глубока, и она прощупывает неметчину в себе, и в России, и, можно сказать, во всех нас.

В сюжете вообще-то на первом плане любовь, смерть, роды, вскармливание, и история, и политика, и война, и творчество. Линии жизней героев – волжских немцев, сплетаясь с жизнью истребляющего их тирана, убийцы нерожденных телят и недоделанных тракторят, – переплетаются, радуют, страшат. Эти сплетения полны оригинальной фантазии. Подробности хочется разгадывать.

Это, как у Маркеса, цикличная история? Магическая? Почему сбываются Баховы сказки? Сталин с его “братья и сестры” – это повторение немки-императрицы Екатерины, обращавшейся к привезенным ею же немецким колонистам: “Дети мои”? Оттуда, видимо, и название романа?

Императрица высится в одном из эпизодов медной статуей, почти медным всадником, и ее, несбывшееся звонкое обещание “иного развития” российской истории, волокут и сдают на вес, суют в печь, переплавляют на детали для танков-тракторов. Разросшийся тем временем до гигантских размеров тиран тяжело топает по городу, зыря в окна вторых этажей. Перелитую на золотистые втулки медную бабушку, покатав на ладони, он выбрасывает в ту же волжскую глубь.

Второй роман оказался выдержанной проверкой. Еще ярче, увлекательнее и честнее первого. Обычно случается наоборот. Яхина снова удивила нас.

Елена Костюкович

Моему дедушке,

деревенскому учителю немецкого

Жена

1

Волга разделяла мир надвое.

Левый берег был низкий и желтый, стелился плоско, переходил в степь, из-за которой каждое утро вставало солнце. Земля здесь была горька на вкус и изрыта сусликами, травы – густы и высоки, а деревья – приземисты и редки. Убегали за горизонт поля и бахчи, пестрые, как башкирское одеяло. Вдоль кромки воды лепились деревни. Из степи веяло горячим и пряным – туркменской пустыней и соленым Каспием.

Какова была земля другого берега, не знал никто. Правая сторона громоздилась над рекой могучими горами и падала в воду отвесно, как срезанная ножом. По срезу, меж камней, струился песок, но горы не оседали, а с каждым годом становились круче и крепче: летом – иссиня-зеленые от покрывающего их леса, зимой – белые. За эти горы садилось солнце. Где-то там, за горами, лежали еще леса, прохладные остролистые и дремучие хвойные, и большие русские города с белокаменными кремлями, и болота, и прозрачно-голубые озера ледяной воды. С правого берега вечно тянуло холодом – из-за гор дышало далекое Северное

море. Кое-кто называл его по старой памяти Великим Немецким.

Шульмейстер Якоб Иванович Бах ощущал этот незримый раздел ровно посередине волжской глади, где волна отливала сталью и черным серебром. Однако те немногие, с кем он делился своими чудными мыслями, приходили в недоумение, потому как склонны были видеть родной Гнаденталь^[1] - [Gnadental - в переводе с немецкого: благодатная долина.] скорее центром их маленькой, окруженной заволжскими степями вселенной, чем пограничным пунктом. Бах предпочитал не спорить: всякое выражение несогласия причиняло ему душевную боль. Он страдал, даже отчитывая нерадивого ученика на уроке. Может, потому учителем его считали посредственным: голос Бах имел тихий, телосложение чахлое, а внешность - столь непримечательную, что и сказать о ней было решительно нечего. Как, впрочем, и обо всей его жизни в целом.

Каждое утро, еще при свете звезд, Бах просыпался и, лежа под стеганой периной утиного пуха, слушал мир. Тихие нестройные звуки текущей где-то вокруг него и поверх него чужой жизни успокаивали. Гуляли по крышам ветры - зимой тяжелые, густо замешанные со снегом и ледяной крупой, весной упругие, дышащие влагой и небесным электричеством, летом вялые, сухие, вперемешку с пылью и легким ковыльным семенем. Лаяли собаки, приветствуя вышедших на крыльцо хозяев. Басовито ревел скот на пути к водопою (прилежный колонист никогда не даст волу или верблюду вчерашней воды из ведра или талого снега, а непременно отведет напиться к Волге - первым делом, до того, как сесть завтракать и начинать прочие хлопоты). Распевались и заводили во дворах протяжные песни женщины - то ли для украшения холодного утра, то ли просто чтобы не заснуть. Мир дышал, трещал, свистел, мычал, стучал копытами, звенел и пел на разные голоса.

Звуки же собственной жизни были столь скудны и незначительны, что Бах разучился их слышать. Дребезжало под порывами ветра единственное в комнате окно (еще в прошлом году следовало пригнуть стекло получше к раме да законопатить шов верблюжьей шерстью). Потрескивал давно не чищенный дымоход. Изредка посвистывала откуда-то из-за печи седая мышь (хотя возможно, просто гулял меж половиц сквозняк, а мышь давно издохла и пошла на корм червям). Вот, пожалуй, и все. Слушать большую жизнь было много интересней. Иногда, заслушавшись, Бах даже забывал, что он и сам - часть этого мира; что и он мог бы, выйдя на крыльцо, присоединиться к многоголосью: спеть что-нибудь громкое, задорное, к примеру колонистскую "Ach Wolge, Wolge!..", или хлопнуть входной дверью, да, на худой конец, просто чихнуть. Но Бах

предпочитал слушать.

В шесть утра, одетый и причесанный, он уже стоял у пришкольной колокольни с карманными часами в руках. Дождавшись, когда обе стрелки сольются в единую линию – часовая на шести, минутная на двенадцати, – он со всей силы дергал за веревку: гулко ударял бронзовый колокол. За долгие годы Бах достиг в этом упражнении такого мастерства, что звон раздавался ровно в тот момент, когда минутная стрелка касалась циферблатного зенита. Мгновение спустя – Бах знал это – каждый обитатель колонии поворачивался на звук, снимал картуз или шапку и шептал короткую молитву. В Гнадентале наступал новый день.

В обязанности шульмейстера входило бить в колокол трижды: в шесть, в полдень и в девять вечера. Гудение колокола Бах считал своим единственным достойным вкладом в звучащую вокруг симфонию жизни.

Дождавшись, пока последняя мельчайшая вибрация стечет с колокольного бока, Бах бежал обратно в шульгауз. Школьный дом был отстроен из добротного северного бруса (лес колонисты покупали сплавной, шедший вниз по Волге от Жигулевских гор или даже из Казанской губернии). Фундамент имел каменный, для прочности обмазанный саманом, а крышу – по новой моде жестяную, недавно заменившую разошедшийся тес. Наличники и дверь Бах каждую весну красил в ярко-голубой цвет.

Здание было длинное, в шесть больших окон по каждой стороне. Почти все внутреннее пространство занимал учебный класс, в торце которого были выгорожены учительские кухня и спальня. С той же стороны размещалась и главная печь. Для обогрева просторного помещения ее тепла не хватало, и по стенам лепились еще три железные печурки, отчего в классе вечно пахло железом: зимой – каленым, летом – мокрым. В противоположном конце возвышалась кафедра шульмейстера, перед ней тянулись ряды скамей для учащихся. В первом ряду – “ослином” – сидели самые младшие и те, чье поведение или прилежание заботили учителя; далее рассаживались ученики постарше. Еще имелись в классном зале: большая меловая доска, набитый писчей бумагой и географическими картами шкаф, несколько увесистых линейек (употреблявшихся обычно не по прямому назначению, а в воспитательных целях) и портрет российского императора, появившийся здесь исключительно по велению учебной инспекции. Надо сказать, портрет этот доставлял только лишние хлопоты: после его приобретения сельскому старосте Петеру Дитриху пришлось выписать газету, чтобы – сохрани Господь! – не пропустить известие о

смене императора в далеком Петербурге и не оконфузиться перед очередной комиссией. Прежде новости из русской России доходили в колонию с таким запозданием, словно находилась она не в сердце Поволжья, а на самых задворках империи, так что конфузия вполне могла случиться.

Когда-то Бах мечтал украсить стену образом великого Гёте, однако ничего из этой затеи не вышло. Мукомол Юлиус Вагнер, по делам предприятия часто посещавший Саратов, обещал, так и быть, “сыскать там сочинителя, ежели где завалялся по лавкам”. Но поскольку никакого пристрастия к поэзии мукомол не питал, а внешность гениального соотечественника представлял себе смутно, то и был вероломно обманут: вместо Гёте всучил ему прохиндей-старьевщик плохонький портрет малокровного аристократа в нелепом кружевном воротнике, пышноусого и остробородого, могущего сойти разве что за Сервантеса, и то при слабом освещении. Гнадентальский художник Антон Фромм, славившийся росписью сундуков и полок для посуды, предложил замазать усы и бороду, а по низу портрета, аккуратно под кружевным воротником, вывести покрупнее белым “Goethe”, но Бах на подлог не согласился. Так и остался шульгауз без Гёте, а злополучный портрет был отдан художнику – по его настоятельной просьбе, “для инспирации вдохновения”.

...Исполнив колокольную обязанность, Бах раскочегаривал печки, чтобы прогреть класс к приходу учеников, и бежал в свой закуток – завтракать. Что ел по утрам и чем запивал, право, не мог бы сообщить, потому как не обращал на то ни малейшего внимания. Одно можно было сказать определенно: вместо кофе пил Бах “рыжую бурду наподобие верблюжьей мочи”. Именно так выразился староста Дитрих, лет пять или шесть назад зашедший к шульмейстеру спозаранку по важному делу и разделивший с ним утреннюю трапезу. С тех пор староста на завтрак более не заходил (да и никто другой, признаться, тоже), но слова те Бах запомнил. Однако воспоминание не смущало его ничуть: к верблюдам он питал искреннюю симпатию.

Дети являлись в шульгауз к восьми. В одной руке – стопка книг, в другой – вязанка дров или кулек с кизяком (кроме платы за обучение, колонисты вносили вклад в образование детей и натуральным продуктом – топливом для школьных печей). Учились четыре часа до полуденного перерыва и два после. Посещали школу исправно: за пропуск любой из половин учебного дня семья прогульщика платила штраф размером в три копейки. Занимались немецкой и русской речью, письмом, чтением, арифметикой; преподавать катехизис и библейскую историю приходил гнадентальский пастор Адам Гендель. Разделения на классы не было,

учащиеся сидели вместе: в какой год по пятьдесят человек, а в какой и по семьдесят. Иногда шульмейстер делил их на группы, и каждая выполняла отдельное задание, а иногда – декламировали и пели хором. Совместное разучивание было основным – наиболее действенным для столь обширной и шкодливой аудитории – педагогическим приемом в гнадентальской школе.

За годы учительства, каждый из которых напоминал предыдущий и ничем особенным не выделялся (разве что крышу в прошлом году обновили, и теперь на шульмейстерскую кафедру перестало капать с потолка), Бах настолько привык произносить одни и те же слова и зачитывать одни и те же задачи из решебников, что научился мысленно раздваиваться внутри собственного тела. Язык повторял очередное синтаксическое правило, рука вяло шлепала линейкой по затылку чересчур говорливого ученика, ноги степенно несли тело по классу, а мысль... мысль Баха дремала, убаюканная его же собственным голосом и мерным покачиванием головы в такт неспешным шагам. Через какое-то время глядь – в руке уже не “Русская речь” Вольнера, а задачник Гольденберга. И губы бормочут не о существительных с прилагательными и глаголами, а о счетных правилах. И до завершения урока остается самая малость, какая-нибудь четверть часа. Ну, не славно ли?..

Единственным предметом, когда мысль обретала былую свежесть и бодрость, была немецкая речь. Копаться с чистописанием Бах не любил, торопливо стремил урок к поэтической части: Новалис, Шиллер, Гейне – стихи лились на юные лохматые головы щедро, как вода в банный день.

Любовью к поэзии Баха обожгло еще в юности. Тогда казалось, он питается не картофельными лепешками и арбузным киселем, а одними лишь балладами и гимнами. Казалось, ими же сможет накормить всех вокруг – потому и стал учителем. До сих пор, декламируя на уроке любимые строфы, Бах чувствовал прохладное трепетание восторга в груди, где-то в подсердечной области. В тысячный раз читая “Ночную песнь странника”, Бах бросал взгляд за школьное окно и обнаруживал там все, о чем писал великий Гёте: и могучие темные горы на правом берегу Волги, и разлитый по степи вечный покой – на левом. А он сам, шульмейстер Якоб Иванович Бах, тридцати двух лет от роду, в лоснящемся от долгой носки мундире со штопаными локтями и разномастными пуговицами, уже начавший лысеть и морщиться от близкой старости, – кто же он был, как не тот самый путник, усталый до изнеможения и жалкий в своем испуге перед вечностью?..

Дети не разделяли страсть педагога: лица их – шаловливые или сосредоточенные, в зависимости от темперамента, – с первых же стихотворных строк принимали сомнамбулическое выражение. Йенский романтизм и гейдельбергская школа действовали на класс лучше снотворного; пожалуй, чтение стихов можно было использовать для успокоения аудитории вместо привычных окриков и ударов линейкой. Разве что басни Лессинга, описывающие похождения знакомых с детства героев – свиней, лисиц, волков и жаворонков, – вызывали интерес у самых любознательных. Но и те скоро теряли нить повествования, рассказанного строгим и выпренным высоким немецким.

Колонисты привезли свои языки в середине восемнадцатого века с далеких исторических родин – из Вестфалии и Саксонии, Баварии, Тироля и Вюртемберга, Эльзаса и Лотарингии, Бадена и Гессена. В самой Германии, давно уже объединившейся и теперь гордо именовавшей себя империей, диалекты варились в одном котле, как овощи в бульоне, из которых искусные кулинары – Готтшед, Гёте, братья Гримм – в итоге приготовили изысканное блюдо: литературный немецкий язык. А в поволжских колониях практиковать “высокую кухню” было некому – и местные диалекты замешались в единый язык, простой и честный, как луковый суп с хлебными корками. Русскую речь колонисты понимали с трудом: на весь Гнаденталь набралось бы не более сотни известных им русских слов, кое-как вызубренных на школьных уроках. Однако, чтобы сбить товар на Покровской ярмарке, и этой сотни было достаточно.

...После уроков Бах запирался в своей каморке и наспех глотал обед. Можно было есть и при незапертой двери, но задвинутая щеколда отчего-то улучшала вкусовые качества пищи, обычно уже успевшей остыть, а по правде говоря – просто ледяной. За весьма умеренную плату мать одного из учеников приносила Баху то горшок бобовой каши, то миску молочной лапши – остатки вчерашней трапезы большой семьи. Следовало, конечно, переговорить с доброй женщиной и попросить ее доставлять пищу если не горячей, то хотя бы теплой, но все как-то было недосуг. Самому же разогревать еду было некогда – наступало самое напряженное время дня: час визитов.

Тщательно причесавшись и повторно умывшись, Бах спускался с крыльца шульгауза и оказывался на центральной площади Гнаденталя, у подножия величественной кирхи серого камня, с просторным молельным залом в кружеве стрельчатых окон и колокольной, напоминающей остро заточенный карандаш. Выбирал себе направление – по четным дням в сторону Волги, по нечетным от нее – и торопливым шагом направлялся по главной улице, широкой и прямой,

как раскатанный отрез доброго сукна. Мимо аккуратных деревянных домиков с высокими крыльцами и нарядными наличниками (что-что, а уж наличники у гнадентальцев всегда глядели свежо и весело – небесно-синим, ягодно-красным и кукурузно-желтым). Мимо струганых заборов с просторными воротами (для телег и саней) и низехонькими дверцами (для людей). Мимо перевернутых в ожидании паводка лодок. Мимо женщин с коромыслами у колодца. Мимо привязанных у керосиновой лавки верблюдов. Мимо рыночной площади с тремя могучими карагачами посередине. Бах шел так быстро, так громко хрустел валенками по снегу или хлюпал башмаками по весенней грязи, что можно было подумать, у него имеется с десяток безотлагательных дел, и каждое непременно следует уладить сегодня. Так оно и было.

Сначала – подняться на Верблюжий горб и окинуть взглядом простирившуюся за горизонт Волгу: каковы нынче цвет волны и ее прозрачность? Нет ли над водой тумана? Много ли кружит чаек? Бьет ли рыба хвостом на глубине или ближе к берегу? Это если дело было в теплое время года. А если в холодное: какова толщина снежного покрова на реке – не подтаял ли где, открывая солнцу блестящий лед?

Затем – пройти суходолом, перебраться через Картофельный мост и оказаться у не замерзающего даже в лютые морозы Солдатского ручья, глотнуть из него: не изменился ли вкус воды? Заглянуть в Свиные дыры, где добывали глину для знаменитых гнадентальских кирпичей. (Поначалу мешали ту глину попросту с сеном. Как-то раз, потехи ради, решили добавить в смесь коровий навоз – и обнаружили, что такой состав придает кирпичам воистину каменную прочность. Именно это открытие и положило начало самой известной местной поговорке “Немного дерьма не помешает”.) По Лакричному бережку дошагать до байрака Трех волов, где расположен сельский скотомогильник. И спешить дальше – через Ежевичную яму и Комариную лощину к Мельничной горке и озеру Пастора с лежащей неподалеку Чертовой могилкой...

Если во время визитов Бах замечал какой-то непорядок – порушенные бураном вешки на санном пути или покосившуюся опору моста, – тотчас начинал страдать этим знанием. Необычайная внимательность делала жизнь Баха мучительной, ибо волновало его любое искажение привычного мира: насколько равнодушна к ученикам была его душа на школьных уроках, настолько страстна и горяча становилась к предметам и деталям окружающего пространства в часы прогулок. Бах никому не говорил о своих наблюдениях, но каждый день с беспокойством ждал, когда ошибка исправится и мир придет в исходное –

правильное – состояние. После успокаивался.

Колонисты, завидев шульмейстера – с вечно согнутыми коленками, застылой спиной и вжатой в сутулые плечи головой, – иногда окликали его и заводили речь о школьных успехах своих чад. Но Бах, запыхавшийся от быстрой ходьбы, отвечал всегда неохотно, короткими фразами: времени было в обрез. В подтверждение доставал из кармана часы, бросал на них сокрушенный взгляд и, качая головой, бежал дальше, поспешно скомкав начатый разговор.

Надо сказать, была еще одна причина его торопливости: Бах заикался. Недуг этот проявился несколько лет назад, и подвержен ему шульмейстер был исключительно вне школы. Тренированный язык Баха безотказно работал во время уроков – без единой запинки произносил многосоставные слова высокого немецкого и легко выдавал такие коленца, что иной ученик и начало забудет, пока до конца дослушает. И тот же самый язык вдруг отказывал хозяину, когда Бах переходил на диалект в разговорах с односельчанами. Читать наизусть куски из второй части “Фауста”, к примеру, язык желал. Сказать же вдове Кох “А балбес-то ваш нынче опять шалопайничал!” не желал никак – застревал на каждом слоге и лип к нёбу, как большая и плохо проваренная клёцка. Баху казалось, что с годами заикание усиливается, но проверить подозрение было затруднительно: разговаривал с людьми он все реже и реже.

После визитов (порой к закату, а иногда уже в густых сумерках), усталый и преисполненный удовлетворения, брел домой. Ноги часто бывали мокры, обветренные щеки горели, а сердце билось радостью: он заслужил ежедневную награду за труды – час вечернего чтения. Исполнив последний на сегодня долг (ударив в колокол ровно в девять вечера), Бах бросал на печь влажную одежду, согревал ступни в тазу с зашпаренным чабрецом и, напившись кипятка во избежание простуд, садился в постель с книгой – старым томиком в картонном переплете с полустершимся именем автора на обложке.

Хроники переселения германских крестьян в Россию повествовали о днях, когда по приглашению императрицы Екатерины первые колонисты прибыли на кораблях в Кронштадт. Бах дочитал уже до момента, когда монархиня самолично является на пристань – поприветствовать отважных соотечественников: “Дети мои! – зычно кричит она, гарцуя перед строем озябших в пути переселенцев. – Новообретенные сыны и дочери российские! Радужно принимаем вас под надежное крыло наше и обещаем защиту и родительское покровительство! Взамен же ожидаем послушания и рвения,

беспримерного усердия, бестрепетного служения новому отечеству! А кто не согласен – пусть нынче же убирается обратно! Гнилые сердцем и слабые руками в российском государстве – без надобности!..”

Однако продвинуться дальше этой духоподъемной сцены у Баха не получалось никак: под периной утомленное прогулкой тело его размякало, как вареная картофелина, политая горячим маслом; держащие книгу руки медленно опускались, веки смежались, подбородок падал на грудь. Прочитанные строки плыли куда-то в желтом свете керосиновой лампы, звучали на разные голоса и скоро гасли, оборачиваясь глубоким сном. Книга выскользывала из пальцев, медленно съезжала по перине; но стук упавшего на пол предмета разбудить Баха уже не мог. Он бы чрезвычайно удивился, узнав, что читает славные хроники ни много ни мало – третий год.

Так текла жизнь – спокойная, полная грошовых радостей и малых тревог, вполне удовлетворительная. Некоторым образом счастливая. Ее можно было бы назвать даже добродетельной, если бы не одно обстоятельство. Шульмейстер Бах имел пагубное пристрастие, искоренить которое было, вероятно, уже не суждено: он любил бури. Любил не как мирный художник или добропорядочный поэт, что из окна дома наблюдает бушевание стихий и питает вдохновение в громких звуках и ярких красках непогоды. О нет! Бах любил бури, как последний горький пьяница – водку на картофельной шелухе, а морфинист – морфий.

Каждый раз – обычно это случалось дважды или трижды за год, весной и ранним летом, – когда небосвод над Гнаденталем наливался лиловой тяжестью, а воздух столь густо пропитывался электричеством, что даже смыкание ресниц, казалось, вызывает голубые искры, Бах ощущал в теле странное нарастающее бурление. Была ли это кровь, благодаря особому химическому составу остро реагирующая на волнения магнитных полей, или легчайшие мышечные судороги, возникающие вследствие опьянения озоном, Бах не знал. Но тело его вдруг становилось чужим: скелет и мускулы словно не помещались под кожей и распирали ее, грозя прорвать, сердце пульсировало в глотке и в кончиках пальцев, в мозгу что-то гудело и звало. Оставив распахнутой дверь шульгауза, Бах брел на этот зов – в травы, в степь. В то время как колонисты торопливо сбивали скот в стада и укрывали в загонах, а женщины, прижимая к груди младенцев и собранные охапки рогоза, бежали от грозы в село, Бах медленно шел ей навстречу. Небо, разбухшее от туч и оттого почти припавшее к земле, шуршало, трещало, гудело раскатисто; затем вдруг вспыхивало белым, ахало страстно и низко, падало на степь холодной машиной воды – начинался ливень.

Бах рвал ворот рубахи, обнажая хилую грудь, запрокидывал лицо вверх и открывал рот. Струи хлестали по его телу и текли сквозь него, ноги ощущали подрагивание земли при каждом новом ударе грома. Молнии – желтые, синие, исчерна-лиловые – пыхали все чаще, не то над головой, не то внутри нее. Бурление в мышцах достигало высшей точки – очередным небесным ударом тело Баха разрывало на тысячу мелких частей и расшвыривало по степи.

Приходил в себя много позже, лежа в грязи, с царапинами на лице и репейными колючками в волосах. Спина ныла, как побитая. Вставал, брел домой, привычно обнаруживая, что все пуговицы на вороте рубахи вырваны с корнем. Вслед ему сияла сочная радуга, а то и две, небесная лазурь струилась сквозь прорехи уплывающих за Волгу туч. Но душа была слишком измождена, чтобы восхищаться этой умиротворенной красотой. Прикрывая руками дыры на коленях и стараясь избегать чужих взглядов, Бах торопился к шмельгаузу, сокрушаясь о своей никчемной страсти и стыдясь ее. Странная причуда его была не только зазорна, но и опасна: однажды неподалеку от него молнией убило отбившуюся от стада корову, в другой раз – сожгло одинокий дуб. Да и разорительно все это было: одних пуговиц за лето – какой расход! Но сдержаться – любоваться грозой из дома или с крыльца школы – Бах не умел никак. Гнадентальцы о весенних чудачествах шмельмейстера знали, относились к ним снисходительно: “Уж ладно, что с него возьмешь – с образованного-то человека!..”

2

Но однажды жизнь Баха круто переменилась.

Тем утром он проснулся в самом благостном расположении духа. Преотменное настроение его было вызвано и яркой голубизной майского неба, глядевшего в окно сквозь незадернутые занавески, и легкомысленной бодростью облаков, бегущих по этому небу, да и самим фактом наступления весны и школьных каникул.

Учились в Гнадентале до Пасхи. Отстояв службы в торжественно убранной кирхе и налюбовавшись горением праздничных свечей, одарив друг друга сладостями и вареными яйцами, проведав усопших родственников на кладбище и живых – в соседних деревнях, наевшись досыта “стеклянного” сыра и янтарно-желтого сливочного масла, колонисты запрягали весь свой тягловый скот и отправлялись

на пахоту – всей семьей. Дома оставались только беззубые старухи с неразумными детьми да женщины, чье домашнее хозяйство было столь обширно, что требовало неотлучного присутствия. Несколько недель от последних утренних звезд и до первых вечерних колонисты будут резать плугами степь. В полдень – собираться у костра, хлебать картофельный суп и запивать обжигающим степным чаем из отваренного в трех водах лакричного корня с щепоткой тимьяна и пучком свежесорванной травы.

Вчера поутру, звоня в пришкольный колокол, Бах знал, что слышат его немногие: обозы с пахарями ушли в степь еще ночью, при зыбком свете тающей луны. Гнаденталь опустел. Впрочем, отсутствие людей никак не сказывалось на точности сигналов Баха; наоборот, он чувствовал еще большую ответственность за то, чтобы время, а с ним и порядок вещей, текли так же размеренно и неуклонно.

Он собрался было уже высунуть ноги из-под перины и нащупать на полу уютные чуни из овчины-старицы, как вдруг на подушку легла тень. Вскинул глаза – кто-то стоит по ту сторону окна, в диковинной треугольной шапке, припав лицом к стеклу. Смотрит. Бах вскрикнул от неожиданности, вскочил, сбросил перину; но неизвестный исчез, так же быстро, как и появился. Разглядеть его лицо Бах не успел – свет падал снаружи. Метнулся к окну: на стекле таял дымчатый след – остаток чужого дыхания. Завозился с рамой, пытаюсь открыть, но железная защелка словно выросла за зиму в деревянную мякоть – не поддалась. Накинул на плечи полушубок, выскочил на крыльцо, побежал вокруг школы – никого, ни в палисаднике, ни на заднем дворе. Почувствовал, как в ногах захлопало холодно и противно; опустил глаза и обнаружил, что бегают по грязи в домашних чунях. Удрученно качая головой, поспешил обратно в шультгауз.

Странный визит взбудоражил Баха необычайно. И не даром: начало дня обернулось чередой подозрительных знаков и сомнительных происшествий.

Сдирая тупым ножом чешуйки прошлогодней краски со школьных наличников, чтобы затем выкрасить их наново, Бах случайно посмотрел вверх и заметил в небе облако, имевшее явственные очертания человеческого лица – определенно женского. Лицо надуло щеки, сложило губы трубочкой, прикрыло томно глаза и истаяло в вышине. Позже, водя кистью по деревянным подоконникам, услышал меканье пробегающей мимо козы – животное вопило так истово, словно предчувствовало что-то страшное. Повернул голову: вовсе не коза то была, а дородная пятнистая свинья, да еще и без одного уха, да еще и с такой

омерзительной гримасой на рыле, каких Бах в жизни не видывал.

Нет, он не был суеверен, как большинство гнадентальцев. Нельзя же всерьез полагать, что из-за потревоженного случайно ласточкиного гнезда корова начнет доиться кровью; или что сорока, чистящая перья на крыше, предвещает увечье кому-то из домашних. Но одно дело – какая-то сорока, и совсем другое – свинья. Потому, решив, что дурных событий на сегодня достаточно, Бах аккуратно закрыл ведро с краской и пошел к себе, не глядя более по сторонам, не обращая внимания на звуки и намереваясь провести весь день взаперти, починяя одежду и размышляя о Новалисе.

Плотно закрыл школьную дверь, задвинул щеколду. Затворил дверь и в свою каморку. Тщательно зашторил окно. Удовлетворенный, обернулся к столу – и увидел на нем длинный белый прямоугольник: запечатанное письмо.

Испуганно оглядевшись – не затаился ли таинственный почтальон в комнате? – и никого не обнаружив, Бах опустил на стул и стал смотреть на лежащий перед ним конверт с неровной надписью “Господину шульмейстеру Баху”. В слове “шульмейстер” было допущено две орфографических ошибки.

Никогда в жизни Бах не писал и не получал писем. Первая мысль была – сжечь: ничего хорошего в послании, доставленном столь подозрительным образом, содержаться не могло. Он осторожно взял конверт в руки: легкий (внутри, кажется, всего один лист бумаги). Рассмотрел почерк: угловатый, принадлежащий человеку, явно не привычному к частому использованию пера. Поднес к лицу и принюхался: едва слышно отдает яблоками. Положил обратно на стол, прихлопнул сверху книгой. Отвернул стул к окну, уселся, закинул ногу на ногу, обхватил себя руками и зажмурил глаза. Просидев так с четверть часа, вздохнул обреченно и, морщась от худого предчувствия, вскрыл конверт.

Многоуважаемый шульмейстер Бах,

сердечно приветствую вас и приглашаю на ужин для обсуждения одного дельца. Ежели согласны, приходите сегодня в пять часов пополудни на гнадентальскую пристань, там будет ждать человек.

С дружескими пожеланиями,

Искренне ваш, Удо Гримм.

Да, вот еще что: человека моего не бойтесь. Внешность у него дурная, но сердце доброе.

Подписываясь, автор сильно вдавил острие пера в бумагу и проткнул ее насквозь.

Бах почувствовал, что взопрел. Снял одежду, оставшись в одном исподнем. Достал с полки чернильницу, размашисто зачеркнул и исправил имеющиеся в тексте ошибки, каковых оказалось восемь штук; рука его работала энергично, стальное перо скрипело и брызгало чернилами. Затем смял исчерканное письмо и швырнул в мусорник. Лег под утиную перину и решил не выходить из дома до вечернего удара колокола.

Если бы колония не была пуста, можно было расспросить старосту Дитриха или других мужчин об этом Гримме, а может, и попросить составить Баху компанию при визите. Обитал автор письма, видимо, недалеко, в одной из соседних колоний ниже или выше по реке, раз приглашал прокатиться к нему в гости на лодке. Идти же одному означало совершить поступок неосмотрительный и даже глупый. Об этом не могло быть и речи.

Но то ли в воздухе носились первые частицы предгрозового электричества, то ли были другие причины – Бах вдруг ощутил внутри себя признаки того неодолимого волнения, что заставляло его брести под ливнем в поисках центра грозы. Казалось, он чувствует проходящее сквозь тело неудержимое течение, увлекающее куда-то помимо воли. Это пугало и возбуждало одновременно – сопротивляться мощному потоку не было сил, да и желания: все словно было решено до него и за него, оставалось только исполнить предписанное.

* * *

И к назначенному времени Бах стоял на пристани – причесанный, с новым носовым платком в кармане суконного жилета. Сердце его билось так сильно, что засаленные борта шульмейстерского пиджачка заметно подрагивали; в руке сжимал палку, с которой прогуливался во время визитов, – она вполне могла бы сгодиться и для обороны.

Гнадентальская пристань состояла из крошечного деревянного пирса, выдававшегося в Волгу аршин на двадцать. Вдоль пирса лепились плоты, ялики и плоскодонки, а в конце имелся причал: прямоугольная площадка с торчащими вверх концами бревен, крашенными в белый цвет, – для крепления швартовов. Сколько Бах помнил себя, большие суда не останавливались в Гнадентале ни разу. К причальным бревнам привязывали разве что ягнят – перед тем как грузить их в лодки и везти на ярмарку в Покровск.

Бах прогулялся туда-сюда по скрипучему пирсу, надеясь движением унять легкую дрожь в коленях. Присел на тумбу, оглядел пустынную гладь Волги. Достал часы: ровно пять. Вздыхнул с облегчением и собрался было уже идти домой, когда откуда-то из-под ног – вернее, из-под щелястых досок пирса – с легким плеском выскользнул ялик. Из него, словно картонная фигурка в раскладной азбуке, поднялся человек, ловко ухватился рукой за край причала и, удерживая лодку, выжидающе уставился на Баха.

Это был он, утренний гость: высокий киргиз, в меховой тужурке без рукавов на голое тело и треугольной войлочной шапке, из-под которой настороженно глядели узкие, поддернутые к вискам глаза. Пористая желтая кожа так плотно облепила кости на его лице, что можно было проследить мельчайшие изгибы скулы или подбородка, поросшего редкими и жесткими черными волосками. Единственной мясистой частью лица был крупный нос, крепко приплюснутый и со съехавшей набок переносицей: видно, перебитый когда-то в драке. Баху отчего-то вспомнилось, как мать пугала в детстве: “А вот киргиз придет – заберет!”

– М-м-м! – не то сказал, не то промычал киргиз – торопил садиться.

“Уж не полагаете ли вы, что я сошел с ума?! – хотел было воскликнуть в ответ Бах. – Уж не думаете ли вы, что я отправлюсь с вами?!”

Но тело его, мало послушное сегодня голосу разума, уже уперлось ногой о край причала, оттолкнулось неловко и прыгнуло в раскачивающуюся лодку. Палка при этом выпала из рук, бултыхнулась в воду и пропала где-то под пирсом.

Киргиз отпустил руку – ялик развернуло и быстро потянуло течением. Уселся на банку лицом к Баху, взялся за весла и погреб от берега. Его жилистые руки то поднимались и набухали мышцами, то вновь опадали, а плоское монгольское лицо – то приближалось, то удалялось. Немигающие глаза неотрывно смотрели на Баха.

Тот покрутился на скамье, стараясь увернуться от назойливого взгляда, но деваться на маленьком ялике было некуда. Решил успокоить себя наблюдением береговых пейзажей – и лишь тогда обнаружил, что лодка движется не вдоль берега, а поперек Волги.

Бах слышал о колониях, лежащих на правом берегу: Бальцер, Куттер, Мессер, Шиллинг, Шваб – все они располагались выше и ниже по течению, где гористый ландшафт не был преградой на пути к реке. Но бывать на нагорной стороне Баху не приходилось ни разу. Вблизи же Гнаденталя правый берег был столь крут и неприступен, что даже зимой, по твердому льду, туда не ходил никто. Как-то вдова Кох рассказывала (она доподлинно знала это от покойной бабки Фишер, а та – от жены свинокола Гауфа, а та – от свояченицы пастора Генделя), что земли эти не то были, не то до сих пор остаются собственностью какого-то монастыря, и доступ туда обычным людям – заказан.

– Позвольте, – беспомощно пробормотал Бах, терзая пуговицы на пиджачке. – Куда же вы?.. Куда же мы?..

Киргиз греб молча и пялился на шмельмейстера. Лопасты весел резали тяжелую волну – буро-зеленую у берега, постепенно синеющую на глубине. Лодка шла сильными рывками – не замедляясь ни на миг, ни на локоть не отклоняясь от намеченного маршрута. Громадина противоположного берега – белесая каменная стена, густо поросшая поверху темно-зеленым лесом и издали напоминавшая лежащего на воде исполинского змея с зубчатым хребтом, – надвигалась также рывками, неумолимо. Баху в какой-то момент показалось, что движет яликом не усилие киргизовых рук, а сила притяжения, исходящая от гигантской массы камней. Сверху вниз – от хребта и до подножия – склон резали глубокие извилистые трещины. По дну их струилась песчаная пыль, сбегая в воду, и это движение сообщало каменистой поверхности совершенно живой вид:

горы дышали. Впечатление усиливалось игрой солнечных лучей, что время от времени скрывались за облаками, – и трещины то наливались фиолетовыми тенями и углублялись, то светлели и становились едва заметны.

Скоро дощатое дно шорхнуло по камням – ялик резко дернулся, воткнувшись носом в покрытые зеленой слизью булыжники. Берега почти не было: каменная стена уходила высоко вверх, куда-то под небеса, и заканчивалась там обрывом. Киргиз выскользнул из лодки и кивнул, приглашая за собой. Утомленное волнениями сердце Баха вздрогнуло, но уже устало и нехотя, словно примирившись с невероятностью происходящего; он огляделся недоуменно и выкарабкался на сушу, скользя ботинками по мешанине из водорослей и тины. Киргиз вытянул из воды ялик – Бах подивился мощи его исхудалого тела – и спрятал за большим коричневым валуном.

Невдалеке, по дну одной из трещин, рассекающих гору сверху донизу, тянулась едва приметная тропинка. По ней-то киргиз и полез – легко и прытко, словно бежал не вверх, а вниз по склону, который оказался не так уж и крут, как это выглядело издалека. Браня себя за участие в сомнительной аванюре и цепляясь руками за редкий кустарник, Бах поплелся следом. Карабкался изнурительно долго, то и дело падая на колени и глотая песок, летящий от шустрых киргизовых пяток. Наконец взобрался на край обрыва – взмокший (пиджачок и жилет пришлось по пути скинуть и нести в руках), с горячим лицом и дрожью в коленях.

На границе леса гора теряла крутизну, далее переходя, вероятно, в равнину или пологие холмы. Но об этом можно было лишь догадываться, таким густым был лес. Баху пришлось поторапливаться, чтобы не потерять из виду киргизову спину: одному найти дорогу в темной гуще кленов, дубов и осин, обильно заросших понизу бересклетом и шиповником, было бы затруднительно. Однако уже через пару минут деревья расступились, глянула просторная пустошь с раскинувшимся на ней большим хутором.

Хозяйский дом кораблем плыл по поляне: огромный, длинный, на фундаменте из тяжелых валунов, со стенами из таких толстых бревен, каких Бах в жизни не видывал. За долгие годы сруб потемнел и обветрил, родимыми пятнами чернели на нем щели, замазанные смолой. Струганные ставни были распахнуты только на нескольких окнах, остальные – плотно заперты. Высоченная крыша лохматилась соломой, из которой торчали две могучие каменные трубы.

Прочие хозяйственные постройки прятались позади: амбары, навесы, просторный хлев, низкая избушка ледника, колодезный сруб. Там же, на заднем дворе, высились горы ящиков, телеги и тележки, бочки, лежали дрова и пиленный лес; кажется, начинался какой-то сад – деревья за домом становились приземистой и реже, посверкивали аккуратными белеными стволами. Ограды у хутора не было – границей служили края поляны. И людей – тоже не было. Даже молчаливый киргиз куда-то сгинул, стоило Баху на миг отвернуться.

Выглядело все так, будто минуту назад жизнь еще была здесь: торчал из колоды топор с длинной ручкой, рядом валялись колотые дрова; у крыльца стояло ведро с дымящейся запарой и тут же – чьи-то разорванные башмаки; из опрокинутой лейки струилась на землю вода; курились остатки углей в очаге летней кухоньки. И – ни звука, ни движенья. Только на краю поляны колыхалось на ветру белье, изредка вздуваясь над веревкой и издавая короткие хлопки.

– День добрый, – приблизившись, Бах с усилием разлепил пересохшие от волнения губы и обратился к двери дома, слегка приоткрытой. – Я бы хотел говорить с господином Удо Гриммом.

Выждав немного, поднялся на крыльцо. Долго и нарочито громко шаркал ногами о ребро пороговой доски, счищая с подошв грязь. Потянул на себя дверную ручку и шагнул в молчавшую темноту.

Пахнуло горячей и жирной едой: Бах вошел в кухню. Высилась у стены беленая печь, уставленная поверху медными котлами и котелками, глиняными горшками, ситами, бочонками, утюгами, кофейниками, подносами, колбасными шприцами и прочей утварью. Рядом, на бревенчатой стене, висела некрашенная полка для посуды, на ней темнели ряды плоских грубой лепки, пучки ложек и половников, загогулина железных ножниц. Повсюду – на разделочном столе, на табуретках и даже подоконниках – что-то стояло и лежало: разномастные кастрюли и сковороды, кружки с молоком и медом, доски с наклепленными клёцками, над которыми вилось легкое облако мучной пыли, мясорубки со свисающими лентами фарша, масляные помазки, обрезки зелени, рыбные головы и яичная скорлупа. Никого не было и здесь. Лишь из соседней комнаты, отгороженной от кухни не дверью, но легкой тряпичной занавеской, доносился сочный хруст.

Бах пошел на звук: тихо поскребся о массивные бревна дверного проема – никто не отозвался; отодвинул завесу и оказался в обширной, как амбар, гостиной. Весь центр ее занимал тесовый стол, уставленный таким количеством яств,

которых хватило бы, верно, и Ослингскому великану из древней саксонской легенды. За столом сидел могучий человек и пожирал еду, кладя ее в рот пальцами и не стесняя себя использованием приборов, которые лежали рядом с тарелкой, чистые. Громкий хруст исходил от мощных челюстей, перемалывающих пищу.

В картине этой удивительным образом не было ничего уродливого. Наоборот, весь пышущий энергией цветущий вид хозяина так шел этому обильному столу и каждому стоявшему на нем блюду, что вся композиция казалась созданной причудливой фантазией художника: бритая наголо голова мужчины блестела в точности, как пышный калач в центре стола, смазанный яичным желтком и подрумяненный в печи; богатые щеки розовели подобно ветчине, выложенной на тарелке толстыми влажными ломтями; мелкие темные глаза были совершенно одного цвета с винными ягодами в бутылки с наливкой; а уши, большие и белые, воинственно торчащие в стороны, поразительно напоминали вареники, грудой вздымавшиеся в глубокой плошке. Толстыми сосисочными пальцами человек брал из бочонка квашеную капусту и отправлял в рот, при этом лохматые усы и борода его так походили на эту самую капусту, что Бах поначалу даже зажмурился от наваждения.

– Моя дочь – дура, – произнес человек вместо приветствия, продолжая жевать и не утруждая себя приглашением Баха к трапезе. – Сделай так, чтобы этого не было видно.

Бах заметил, что стол накрыт на двоих, но присесть не решился. Откашлялся и оправил пиджачок, ощущая, как вздрогнул и подобрался пустой желудок: ломая голову над загадочным письмом, шульмейстер сегодня не обедал вовсе.

– Вы – Удо Гримм? – уточнил на всякий случай.

– Да уж не господь бог, – подтвердил тот, подбирая со сковороды куски картофеля на выжарках из сала; сковорода шкворчала и брызгалась, но пальцы Гримма даже не дрогнули.

– Сколько же лет вашей дочери? – Бах заметил на столе несколько видов колбас – и холодную ливерную, с лиловым отливом; и горячую жареную, в чешуе золотистых шкварок; и копченую, – и у него отчего-то вдруг стало солоно во рту.

– Семнадцать на Троицу стукнет.

Гримм покончил с мясными блюдами и перешел к сладкому супу на арбузном меду, в котором плавали острова сушеных груш, яблок, вишни и изюма. Ложка при этом так и осталась лежать на столе: Гримм прихлебывал суп через край, держа тарелку на растопыренных пальцах, как чайное блюдце, на татарский манер.

– И она, как вы изволили выразиться... – Бах сглотнул обильную слюну, мешавшую говорить, – ...не отличается острым умом. Насколько же выражен этот недуг?

– Сказано: дура! – и Гримм с чувством выплюнул попавшую меж зубов вишневую косточку – Бах дернулся от неожиданности, но та просвистела мимо и запрыгала по земляному полу где-то в дальнем углу. – В голове – дым! Сказки нянькины да капризы бабские. Кто такую замуж возьмет? Здешние тюфяки взяли бы, как пить дать, а в рейхе – не возьмут, даже с приданым. Нет, в рейхе мне ее такую с рук не сбыть...

Рейхом колонисты на немецкий манер называли Германию.

– Вы собираетесь эмигрировать, – осторожно заключил Бах. – Как скоро?

– Ты учитель? Вот и учи! – Гримм со стуком поставил на стол пустую тарелку, и Бах вздрогнул повторно. – А вопросы я и сам задавать мастер! Учи мне дочь говорить красиво и складно! А не говорить – так хоть понимать! Молчащая жена – оно еще и лучше. Пусть хоть чуток по-правильному кумекает – и довольно. И мне легче, и тебе – деньжонка в карман!

Гримм ухватил мягкую вафлю, шлепнул ею в плошку с медом и запихнул в рот, рукой подбирая с губ тягучие медовые нити.

“Извольте вести себя подобающим образом, господин невежа, иначе разговор наш окончен!” – хотелось крикнуть Баху и даже стукнуть легонько ладошкой по столу; но вместо этого только опустил глаза и заелозил руками по брючинам, борясь с закипающим внутри негодованием.

– Итак, вы желаете, чтобы я учил вашу дочь высокому немецкому, – спустя минуту резюмировал он слегка дрожащим голосом. – Можно ли в таком случае познакомиться с ученицей?

– А приезжай завтра со своим барахлом: книжками, карандашами (или чем ты там на уроке нос пачкаешь?). Начнешь урок и познакомишься. – Из тяжелой бутылки белого стекла Гримм плеснул себе в рюмку мутно-малиновой наливки; затем поглядел на Баха пристально и плеснул во вторую рюмку. – Согласен?

– Господин Гримм, мы с вами столь мало знакомы, что я все же просил бы вас избегать фамильярности и обращаться ко мне...

– Согласен? – перебил Гримм, вставая и протягивая Баху рюмку.

Бах рюмку взял (ох и ядрено пахла наливка! вдохни – захмелеешь!), дернул плечом, выгнул брови неопределенно; наконец, не в силах более выдерживать пристальный взгляд Гримма и желая как можно скорее окончить малоприятную встречу, нерешительно повел подбородком, словно хотел освободить шею из чересчур тугого ворота. Движение это вкупе с мучительной гримасой на лице можно было истолковать самыми разными способами, но не склонный к многомыслию Гримм принял его за однозначный утвердительный ответ: рюмки громко дзынькнули, скрепляя договор. Растерявшийся от такого стремительного развития событий, Бах поднес к губам свою и жадно вылил прохладную жидкость в пересохшее горло.

И в тот же миг что-то изменилось вокруг. Не то наливка была чересчур крепка, не то Бах, оголодавший и непривычный к веселящим напиткам, чересчур слаб – но хутор, до этого суровый и мрачный, вдруг пробудился и наполнился жизнью: мелькнули за окном чьи-то крепкие спины, раздался со двора стук топора и бляение овец, хлопнула входная дверь – кто-то прошел по кухне, тяжело шаркая ногами, и скрипучий старушечий голос спросил сварливо:

– Самовар нести?

– Позже, – отозвался Гримм.

Он снял со стены длинную изогнутую трубку, уселся лицом к окну и принялся набивать ее табаком. Поняв, что встреча окончена, Бах пошел вон, несколько не

смущенный необычным поведением хозяина: вернувшись в мир люди и звуки наполнили душу веселостью, вздорными и смешными показались собственные страхи, и даже голод, жестоко мучивший его последний час, куда-то исчез, уступив место приятнейшей легкости и телесному воодушевлению.

Возившаяся на кухне старуха, тощая, как осенний крушиновый куст, даже не взглянула на Баха – он отнес это на счет ее деликатности. Знакомый киргиз, уже поджидавший у крыльца, показался теперь гораздо менее пугающим, а хутор – уютным: не поднимая глаз и не открывая ртов, деловито сновали по двору работники (у всех, как на подбор, суровые монгольские лица, едва отличимые друг от друга); под ногами путалась домашняя птица, пестрая и шумная, – гуси, утки и даже пара фазанов с длинно-полосатыми хвостами; стучали копытами лошади в загоне – хорошо кормленные, с лоснящимися шеями; а деревья в саду за домом были усыпаны крупными, с кулак, цветами, розовыми и белыми, – они пахли так сильно, что на языке ощущался медовый вкус будущих яблок.

Лес, через который Бах с киргизом шли обратно, глядел уже не дикой пущей, а по-весеннему светлой рощей. Шагать по ней было одно удовольствие, а отрадные мысли это удовольствие многократно усиливали: предстоящие уроки с девицей Гримм казались предприятием несложным, но полезным, отвечающим священному учительскому долгу, к тому же финансово привлекательным. Вскоре Бах заметил, что ноги несут его по тропе удивительным образом – каждый шаг преодолевает расстояние в пять, а то и десять аршин – так что на хребте склона он оказался в считанные минуты.

Открывшийся с высоты вид был совершенно поразителен, и Бах замер, позабыв себя: Волга простиралась перед ним – ослепительно синяя, сияющая, вся прошитая блестками полуденного солнца, от горизонта и до горизонта. Впервые он обозревал столь далекие просторы. Мир лежал внизу – весь, целиком: и оба берега, и степь в зеленой дымке первых трав, и струившиеся по степи речушки, и темно-голубые дали по краям окоема, и сизый орлан, круживший над рекой в поисках добычи. Бах раскинул руки навстречу этому простору, оттолкнулся от края склона и – этот миг не мог потом припомнить в точности – не то слетел птицей, не то сбежал вихрем по тропинке вслед за быстроногим киргизом...

* * *

Проснувшись наутро, Бах вспомнил о предстоящем знакомстве с ученицей – и ощутил противную слабость: зубы сводило нещадно, в них поселилась какая-то ноющая прохлада, будто в челюсти гулял сквозняк; таким же мерзким холодком обдувало изнутри желудок. Бах подумал было сказаться больным и увильнуть от сомнительной затеи, но неожиданно обнаружил в кармане пиджачка деньги – и немалые – судя по всему, врученные вчера Гриммом в качестве задатка, хотя сам момент вручения совершенно выпал из шульмейстерской памяти. Отказаться было невозможно.

В оговоренное время Бах ждал на пристани, измученный тревогой о предстоящем уроке. Под мышкой держал томик Гёте, учебник немецкой речи и стопку бумаги для упражнений в письме. Рубашку под жилет решил надеть чистую и даже глаженую – несмотря на эксцентричность отца, дочь могла оказаться гораздо более требовательной к принятым в обществе нормам приличия.

Никогда прежде Баху не приходилось давать частные уроки взрослым девицам. Он боялся, что один лишь насмешливый взгляд фройляйн Гримм или неосторожное слово послужат причиной его смущения – излишнего румянца на щеках или приступа заикания, – и потому решил быть с ученицей строг. Решил также не смотреть во время урока ей в глаза (а глазищи у девиц порой бывают страх какие!), и даже вообще на нее не смотреть, а созерцать исключительно пейзаж за окном или, на крайний случай, потолок. Уж лучше выглядеть отстраненно и холодно, чем смешно. Заготовил несколько фраз, которые имели целью вопреки домашнему уюту создать строгую атмосферу урока: придумал их не сам, а позаимствовал из лексикона пастора Генделя. Так и сел в подоспевшую лодку киргиза, бормоча эти фразы себе под нос на все лады и старясь подобрать наиболее внушительные интонации.

Пути не заметил – был увлечен подготовкой ко встрече. Взбираясь на обрыв, запыхался уже меньше вчерашнего. Да и лес выглядел сегодня мирно. Да и хутор был приветлив и многолюден. Хозяина видно не было. Киргиз провел Баха в гостиную, которая смотрелась до того иначе, что узнать в ней вчерашнюю столовую было затруднительно.

Могучий обеденный стол куда-то делся (и Бах изумился про себя, как сумели вынести предмет, явно превосходивший размерами дверные и оконные проемы). На месте стола высилась полотняная ширма, отгородившая добрую половину пространства. Перед ней – деревянный стул с резной спинкой. Вчерашняя

старуха-кухарка сидела тут же, у окна, удобно устроившись на низенькой скамейке и поставив перед собой крашенную в земляничный цвет прялку – колесо ее вертелось и жужжало, разбрызгивая по бревенчатым стенам красные блики. Старуха цепляла длинными когтями пук кудели из объемистой корзины рядом, подносила к вьющейся перед носом рогатой шпульке и перетирала в тончайшую, едва заметную нить, то и дело слюнявя указательный палец. Иногда серебряные струйки падали из приоткрытого рта на полосатый передник, и казалось, что пряжа сучится не из шерсти, а из одной лишь старушечьей слюны. Пряжа работала без обуви – торчавшая из-под синей шерстяной юбки босая ступня усердно жала на педаль прялки. Бах почудилось, что пальцев на ноге у старухи более положенных пяти, но костлявая ступня двигалась так резво, что убедиться в этом не было возможности. Он поздоровался, но старуха едва ли услышала его за стрекотом колеса: одетая в крошечный белый чепец голова даже не повернулась.

Не решаясь заглянуть за ширму, явно водруженную с каким-то намерением, Бах положил свои книги на стул и принялся ждать, разглядывая висящую на стене широкую витрину с дюжиной хозяйских трубок: янтарно-желтых – из яблони, густо-розовых – из груши и сливы, темно-серых – из бука; каждая длиной не менее локтя.

– Приехал учить – так учи, не отлынивай! – громкий окрик сзади вдруг.

Бах вздрогнул, повернулся: он мог бы поклясться, что сердитый голос принадлежит старухе, однако та продолжала работать, уткнувшись взглядом в крутившуюся у носа шпульку.

– Позвольте, я готов, – обратился он тем не менее к ней. – Но для обучения одного лишь учителя недостаточно. Требуется также ученица. Где она?

– Я здесь, – едва различимый голос из-за ширмы – такой тонкий, что его легко можно было принять за детский.

– Извольте шутить, фройляйн? – Бах подошел вплотную к ширме и внимательно оглядел массивную раму, на которую было натянуто небеленое полотно, закрепленное по периметру мелкими гвоздями. – Надеюсь, вы понимаете: подобное баловство недопустимо в столь серьезном деле, как обучение. Выходите немедленно, и начнем урок.

– Я не могу выйти, – от волнения голос упал до шепота. – Не велено.

– В таком случае я буду вынужден пригласить сюда вашего отца и рассказать ему об этих фокусах. Насколько я могу судить по нашему недавнему знакомству, человек он решительный и проволочек не потерпит... Что значит – не велено? Кто не велел? – Бах прошелся вдоль ширмы – три шага туда и три обратно, – размышляя, не сдвинуть ли ее попросту в сторону, оборвав тем самым затянувшуюся игру в прятки.

– Отец, – это слово голос произнес осторожно, даже с опаской. – Отец и не велел.

– Послушайте... – Бах приблизил лицо к полотняной створке, и ему показалось, что по ту сторону слышно легкое частое дыхание. – Как вас зовут?

– Клара.

– Послушайте, фройляйн Клара. Вы взрослая девица и наверняка понимаете, что образование – процесс многосложный. Заниматься им из-за ширмы, а также плавая в Волге, стоя на голове или каким бы то ни было иным причудливым образом – не получится! Не могу же я учить высокому немецкому вот эту загородку! – Бах положил ладони на раму, ухватил покрепче и попытался приподнять ширму, намереваясь перенести в угол комнаты, но не смог – конструкция неожиданно оказалась очень тяжелой, лишь пошатнулась слегка, а Бах едва удержался на ногах.

За ширмой испуганно ахнули, жужжание прялки смолкло. Смущенный собственной неуклюжестью, Бах обернулся – и уткнулся в немигающий взгляд старухи: выцветшие от старости глаза, едва различимые под седыми ресницами и похожие на плавающие в молочном супе клецки, смотрели пристально и равнодушно; скрюченные пальцы продолжали беззвучно сучить – но не выпавшую из них нить, а воздух. Баху стало не по себе. Убрал руки с ширмы, отер ладони о пиджак, отступил на шаг. Старуха тотчас поймала пальцами выскользнувшую нитку и вновь забила ступней о педаль, разгоняя прялочное колесо.

Бах взялся за спинку стула, постоял так с минуту, переводя взгляд с бледного старухино лица, морщинистого, как ящеричная шкурка, на злополучную ширму и обратно. Из-за створок донесся легкий звук – не то короткий шелест

бумаги, не то всхлип.

– Ну хорошо... – Бах хлопнул ладонями по струганой спинке. – Есть ли объяснение такому странному способу занятий? Возможно, вы обладаете какой-то необычной внешностью? Физическим недостатком или пороком? Так знайте, я никогда не воспользуюсь этим изъясном, чтобы обидеть вас. И дело тут не только в христианской терпимости, присущей каждому образованному человеку. Поверьте, я знаю о страдании не понаслышке и никогда – слышите, никогда! – не позволю себе причинить боль другому человеку.

Бах вдруг понял, что говорит чересчур откровенно: лишенный возможности видеть Клару, он обращался словно к самому себе.

Молчание за ширмой.

– Возможно, вы как-то по-особому невероятно стыдливы? Так обещаю не смотреть на вас вовсе – во время урока я имею привычку разглядывать учебники и тетради, а не учеников. Если хотите, от начала и до конца нашей беседы я буду глядеть в окно – и только в окно! – Понемногу Бах начинал злиться; в отсутствие видимого собеседника негодование его выплескивалось наружу. – Поверьте, мне нет никакого дела до того, как вы выглядите, какого цвета ваши глаза, щеки, платье или туфли! Меня в вашей персоне интересует исключительно умение грамотно использовать плюсквамперфект и сопрягать грамматические времена!

Молчание за ширмой продолжалось.

Жужжание прялки в тишине стало таким громким, что Баху захотелось швырнуть в нее стулом.

– Фройляйн Гримм, – произнес он с самой строгой из всех своих интонаций. – Я ваш учитель и требую объяснения, почему наши уроки должны вестись при столь странных обстоятельствах.

С той стороны вздохнули судорожно.

– Отец боится... – наконец заговорила Клара, но опять умолкла, в затруднении подбирая слова, – ...что, глядя на постороннего мужчину, я стану вместилищем греха.

– Глядя на меня? – Бах от неожиданности даже не нашелся, что ответить. – На меня?!

Он посмотрел на свои пальцы, со вчерашнего утра перепачканные чернилами, когда черкал пером в письме Удо Гримма, и вдруг такая неудержимая веселость охватила его, что он задышал сначала часто, затем захихикал бесшумно, со сжатыми губами, словно стыдясь и давя в себе смех, но с каждой секундой все более поддаваясь ему, – и наконец захохотал, широко открывая рот.

– На меня! – гоготал он, упав на стул, прямо на учебник немецкой речи, и рукой вытирая выступающие на глазах слезы. – Глядя на меня... в сосуд греха!

Отсмеявшись вволю, до легкой боли внизу живота, Бах отдышался и понял, что так искренне и долго не веселился, пожалуй, еще никогда. Он встал, взял свои книги, выложил на стул из кармана полученные вчера деньги и, поражаясь собственной решимости, вышел вон – найти Удо Гримма и сообщить ему, что на подобный педагогический эксперимент согласия не давал.

Обошел двор, то и дело останавливая встречавшихся работников и спрашивая о хозяине. Киргизы, однако, то ли не понимали немецкую речь, то ли были напуганы, то ли и вовсе – немые: бросали на Баха хмурый взгляд из-под набрякших век и, не говоря ни слова, продолжали свое занятие. Безучастные лица их при этом оставались неподвижны: не раскрывались иссушенные ветром тонкие губы, морщины на бурых лбах даже не вздрагивали.

– Господин Гримм! – Бах, выведенный из себя долгими поисками, закричал так громко, что сам испугался силы своего голоса. – Господин Удо Гримм, я ухожу! Поищите своей дочери другого учителя!

Только овцы ответили ему из загона нестройным блеянием. Бах, не заметивший среди работников своего проводника, решил идти на берег и дожидаться там: оставаться более на странном хуторе он не желал. Сжал покрепче томик Гёте под мышкой, сердито пнул валявшееся под ногами полено (которое оказалось крайне увесистым, и нога долго еще ныла от боли) и направился по тропинке в

лес.

Путь был знаком. Топорщились ежами кусты бересклета. Кряжистые дубы обнимали себя – обвивали ветвями собственные стволы. Кое-где в стволах распахнутыми ртами чернели дупла, из которых то и дело выстреливали юркие тени: не то белки, не то куницы, не то еще кто... Каждый поворот тропинки Бах узнавал, но тем не менее шел почему-то на удивление долго – может, полчаса, а может, и час.

Заподозрил неладное. Сперва успокаивал себя мыслью, что дорога с провожатым всегда кажется короче и легче. Затем допустил, что все же отклонился немного: немудрено обмануться в малознакомом месте. Как бы то ни было, в ближайшие минуты он должен был непременно выйти к воде, от которой отделяла его самая малость – тонкая полоска прибрежных зарослей.

Ускорил шаг. Затем сунул книги за пазуху и побежал, скользя по жирной земле. Мимо по-прежнему неслись знакомые картины. Взъерошенные щетки божьего дерева по краям тропы – узнавал. Могучую липу, расколовшуюся от макушки до корня, – тоже узнавал. Пень-гнилушку, утонувшую в лохматой громадине муравейника, – узнавал, черт подери, узнавал! И засохшую березу узнавал – до последнего ее корявого сучка! А берега – все нет! И солнца в небе тоже нет: пелена облаков затянула небосклон, определить местонахождение светила – а значит, и время – невозможно.

На бегу вытащил из жилетного кармана часы – стоят. Впервые стоят, со дня покупки. Остановился на мгновение, потряс латунную луковицу, поднес к уху: не ходят. Лишь стон ветвей слышен вокруг – надсадный, протяжный. Оглянулся: а лес-то – чужой. Незнакомая чаща сереет нагромождением стволов, растрескавшихся и по-пьяному развалившихся во все стороны. Понизу щетинится иглами густой ежевичник, на ветвях – лохмотья прошлогоднего хмеля. Один из уродливых пней похож на сидящую за прялкой старуху. Бах с усилием оторвал взгляд от пня-старухи и помчался – но уже не глядя по сторонам, а закрывая лицо руками от несущихся навстречу веток и чувствуя, как из глубины живота подступает к горлу тяжелая, обжигающая холодом дурнота.

Бежал, пока хватало воздуха в груди. Гортань раскалилась, каждый вдох резал ее пополам. Ослабелые ноги едва перебирали, месили мокрую глину. Одна вдруг зацепилась носком за торчавший узел древесного корня – и тело Баха, горячее, почти задохнувшееся, полетело вперед. Лоб хрястнул о холодное и скользкое;

что-то большое, твердокаменное ударило в грудь и в бедра; локти и колени словно одновременно дернуло из туловища вон.

– А-а-а! – закричал шультмейстер, желая прекратить мучительную боль, рвущую тело на части.

Открыл глаза – лежит: лицом в плоский камень, в овраге, устланном по дну навалами из бревен и коряг. Поверхность камня склизкая – от зеленого мха и крови, капающей у Баха из носа. Ухватился за плети ежевичных зарослей, подтянулся – в ладони впились колючки; заелозил ногами, упираясь в какие-то сучья, – голени тотчас занули нестерпимо, словно перебитые. Больно, слишком больно.

Чувствуя под ребрами частые и тяжелые удары сердца, кляня весь этот лес, и эту яму, и эти бревна, перебираться через которые было пыткой, Бах прижался лбом к прохладной замшелости камня, перевел дух. Вдруг ощутил, что мох стал мягче. Нет, не мох – каменная поверхность медленно сминалась под тяжестью его головы, наподобие подушки, становясь с каждой секундой все мягче; и вот уже камень стал на ощупь – как пуховая перина, покрытая не мхом, а нежным бархатом. Бах хотел было приподняться, напряг руки, но ладоням упереться было не во что – прошли сквозь засыпанную прелыми листьями землю, сквозь трухлявые коряжины, как сквозь зыбучий песок. Хотел было оттолкнуться от бревен, которые недавно причиняли боль твердостью и остротой сучьев, – ноги забарахтались в чем-то густом и вязком, словно плыл по кисельному морю.

Завертел головой, не веря глазам: мир вокруг плавился, как сало на сковороде. Предметы теряли очертания и таяли, стекая по склонам оврага: могучие кряжи, валуны, замшелые колоды, пучки корней, листовенная прель. Краски мешались, вплавлялись друг в друга: чернота земли и краснота листьев, древесная серость и зелень мха – все текло, медленно, вниз. Бах затрепыхался отчаянно, пытаясь нащупать хоть что-то в окружающей зыбкости, – ничего твердого, сплошное мягкое тесто из бревен, камней и коряг. Он тонул в буреломе, тонул неотвратно и страшно – как муха в меду, как мотылек в тающем свечном воске.

– Отпусти! Прошу! – заверещал, вытягивая шею вверх и ощущая, как любое движение погружает его все глубже; наконец позабыл все слова – заскулил по-животному.

В глазах качнулось низкое небо, пронзенное ветвями деревьев. И оно тоже – таяло, оплывало по стволам, затапливая мир сверху: светлые струи стекали из вышины по дубам и кленам, окрашивая их в белое. Бах зацепился взглядом за это белое вдали – едва видимое, укрытое частоколом бурых древесных спин, – зацепился, как за крючок, потому как более цепляться было не за что. Рванулся к нему из последних сил, забил локтями и коленями, отчаянно желая лишь одного – вновь ощутить твердость прикосновения, боль удара.

Под ладонь правой руки попало вдруг что-то чешуйчатое – не то шишка, не то ошметок древесной коры – попало и вновь пропало где-то в кисельных глубинах. Мгновение спустя что-то царапнуло по шее: корень? Ежевичная ветвь? Что-то укололо в живот... Бах бился отчаянно, как рыба в сети, – и постепенно в окружающем киселе проступала утерянная вещность мира – медленно, как проступает прошлогодняя трава сквозь тающий апрельский сугроб. Сучья и коряги, а за ними земля и камни обретали былую твердость, жесткость и остроту. Бах хватался за что-то и упирался во что-то, работал руками и ногами – полз, полз, наслаждаясь болью от каждого удара, от каждого впившегося в бедро сучка или ободравшей лоб колючки. По-прежнему тянул шею вверх – смотрел на то самое белое, спасительное. Пробившийся сквозь облака солнечный луч ударил в лицо, обжег привыкшие к овражным сумеркам глаза, но Бах даже не прищурился – боялся упустить из виду белое. Полз, полз – и скоро оказался рядом с яблоневым стволом, беленым известью.

Припал щекой к шершавой коре в известковых комках и терся об нее до тех пор, пока на зубах не хрустнул мел. Сел рядом, прислонился к дереву спиной, отдышался. Вокруг увидел другие яблони: крашенные стволы – как свечи на черном фоне земли. Большой ухоженный сад убежал вдаль; над головой облаками дрожали кроны, осыпанные белыми цветками и зелеными язычками молодых листьев.

Нехотя Бах встал. Оглаживая расцарапанными в кровь ладонями белены стволы и уже все понимая, побрел по саду. Скоро вышел к хозяйскому дому – с противоположной стороны. Никем не окликнутый, проплелся через хутор и поднялся на крыльцо.

* * *

Красное колесо по-прежнему крутилось, старуха сучила пряжу. Не вытирая ног, Бах прошлепал в центр гостиной. Увидел на стуле выложенные им купюры, смахнул рукой – и они медленно разлетелись по полу. Сел на стул.

– Вы еще здесь, Клара? – спросил устало.

– Здесь, – раздалось тихое из-за ширмы.

– Отпустите меня. – Каждое слово давалось Баху с трудом: язык и губы едва шевелились, приходилось напрягаться, чтобы перекрыть жужжание прялки. – Я же слышу по голосу, Клара, вы добрая девушка. Будьте милосердны, не берите грех на душу. У вас впереди – долгая жизнь, трудно будет идти по ней с грехом...

– Я вас не понимаю, – испуганный, едва различимый шепот.

– Нет, это я не понимаю! – Бах, неожиданно для себя самого, возвысил голос до крика. – Не понимаю, что все это значит! Все эти странные мерзости, которыми нашпигован ваш дом! Эти немые киргизы с пустыми глазами! Деньги, которые сами возникают в кармане, хотя я их не получал! Тропинки, что водят кругами! Тающие деревья! Ведьмы с прялками! – Бах с опаской глянул на старуху, но та продолжала невозмутимо работать. – Все эти чертовы фокусы и дурные загадки. Девушки, скрывающиеся за ширмами... А если я ее сейчас уроню? – озарила вдруг Баха злая мысль. – Пну ногой и опрокину вашу чертову заслонку!

– Тогда отец вас убьет, – сказала Клара просто.

– Господи Вседержитель! – Бах уронил лицо в ладони и долго сидел так, слушая жужжание старухино колеса; он почему-то не сомневался, что Клара говорит правду.

– Зачем я вам? – наконец поднял он голову; голос его охрип и словно увял за эти минуты молчания. – Мне тридцать два года, у меня ничего нет за душой. С меня нечего взять, и дать я тоже ничего не могу. Выберите кого-нибудь другого – моложе, красивее, богаче, в конце концов. В Бога я не верю, и душа моя никчемная вам без надобности. Только не говорите пастору Генделю. Впрочем, можете сказать, мне все равно... Так вот, вы ошиблись, выбрав для экспериментов меня. Я не знаю, как вы это делаете, тем более не могу

предположить зачем. Прошу только: одумайтесь. Заставить меня страдать легко, но радости большой вам это не доставит: я слаб телом, а духом – совершенно беспомощен. Какой толк мучить больную мышь? Она и так скоро издохнет. Уж лучше выбрать в жертву сильного зверя, он будет сопротивляться долго и отчаянно. Вам же именно это необходимо? А я – я все забуду, клянусь. Даже если и нет – рассказать о вас мне все равно некому, круг моего общения состоит из меня одного. Я никогда более не приеду на этот берег, даже не взгляну на него, если угодно – гулять к Волге не выйду ни разу...

– Все равно – не понимаю...

– Чего вы хотите? Скажите, наконец, прямо, будьте милосердны. Чего вы, черт подери, от меня хотите?!

– Я хочу учиться. И всего-то...

– И всего-то! – повторил он, разглядывая свои ладони, перемазанные кровью, грязью и известью. – Ну хорошо. А если я проведу с вами урок – вы обещаете меня отпустить вечером?

– Неужели же кто-то удерживает вас силой?

Морщась от боли, Бах отряхнул с рук землю и известковую пыль.

– Если я проведу урок – вы обещаете позвать того киргиза и строго-настрого приказать ему переправить меня домой?

– Конечно. Ему так и велено.

– Велено отцом, – понял уже без подсказки Бах; огладил растрепанные волосы, обнаружил в них зацепившийся сучок, бросил под ноги; рукавом пиджака вытер лицо. – Ладно, фройляйн, извольте начать заниматься...

И они начали. Прежде всего Бах решил проинспектировать знания Клары Гримм – и пришел к выводу, что они совершенно ничтожны. Девушка, при всей нежности ее голоса и деликатности в общении, была невежественна, как африканская дикарка. Из всей географии она твердо знала о существовании

лишь двух стран, России и Германии, а также одной реки – Волги; причем река эта, по Кларинуому разумению, соединяла оба государства, так что из одного в другое вполне можно было переместиться при помощи плавательных средств. Остальной мир представлялся Кларе темным облаком, окружающим известные земли, – дальше родного волжского берега познания девицы не простирались. О строении земных недр и содержащихся в них полезных ископаемых она имела весьма приблизительное понятие, как и о сферах небесных, – и в научном, и в религиозном смыслах. Духовно воспитана была, но катехизис знала слабо (пастор Гендель пришел бы в ужас, услышав рассказы о похождениях Адама и Евы или невзгодах Ноя в ее бесхитростном изложении). Звезды и созвездия называла на крестьянский лад: Большую Медведицу – Весами, Орион – Граблями, а созвездие Плеяд – Наседкой. Вопрос же о конфигурации Земли и наличии в космических высях прочих планет привел Клару в полное смущение – об астрономии на хуторе Гримм и не слыхивали. Как, впрочем, и о Гёте с Шиллером.

Удивление вопиющей непросвещенностью девицы росло в сердце Баха с каждым новым вопросом. Постепенно он позабыл свои недавние злоключения и увлекся поисками тех мельчайших крупиц знаний, которыми все же обладала Клара: почувствовал себя сродни старателю, промывающему тонны породы ради нескольких крупиц золота. Клара отвечала охотно, не таясь, но поведать могла лишь о своей короткой немудреной жизни, которая вся, от первого и до последнего дня, прошла на хуторе Гримм.

Еще в младенчестве потеряв мать и лишившись женского участия, запуганная строгим отцом, имевшая в наперсницах лишь полуглухую няньку, Клара выросла существом робким и трогательно нежным. Неосторожное слово легко приводило ее в смущение, а печальное воспоминание вызывало слезы, и она надолго умолкала за своей ширмой, шмыгая носом и судорожно вздыхая. Впервые в жизни Бах встретил человека, еще более ранимого и трепетного, чем сам. Обычно он замыкался в обществе – как черепаха втягивает голову и лапы под крепкий панцирь, – чтобы ненароком не быть обиженным. Теперь же был вынужден играть противоположную роль: вслушиваться в малейшие оттенки Клариных интонаций, вовремя различая в них первые признаки замешательства или грусти; тщательно продумывать вопросы, призывая на помощь всю свою тактичность и природную мягкость.

Лишенный возможности наблюдать лицо девушки, он сосредоточился на ее голосе – тихом и тонком, часто начинающем дрожать, – который за несколько часов рассказал ему о хозяйке больше, чем Бах знал о своих односельчанах.

Азарт исследования чужой души поборол недавние усталость и страх: Бах и не заметил, как тени в комнате изменили направление, а его возмущение варварской дремучестью фройляйн Гримм превратилось в сострадание.

Под конец урока, просовывая под ширму томик стихов для экзаменации навыков чтения, он пристально вглядывался: не покажутся ли под рамой тонкие пальчики? Это отчего-то казалось важным. Нет, не случилось: книга исчезла по ту сторону, словно втянутая мощным потоком воздуха. Жаль.

Читала Клара из рук вон плохо. Бах услышал вначале долгое шелестение страниц, затем взволнованное дыхание, а после – сбивчивое чтение, медленное и мучительное, как у младшеклассника. Не успели прочесть и пары строк – в окне мелькнуло темное лицо и на пороге возникла фигура киргиза-проводжатога.

– Вы же придете завтра? – спросила Клара, выталкивая книгу обратно из-под ширмы.

Бах подобрал томик – казалось, что переплет еще хранит тепло девичьих пальцев. Поднимаясь со стула, почувствовал, как заныли ноги. И только теперь вдруг понял, что за несколько часов ни разу не вспомнил и про блуждания по лесу, и про коварную овражную топь, и про спасение в яблоневоm саду. Было ли что-то подобное с ним сегодня? А если и было – то что?

Понял, что сегодня он кричал от злости, хохотал, боялся, был откровенным – как никогда в жизни. И ни разу при этом не заикнулся.

Понял, что хочет увидеть Кларино лицо.

– До свидания, фройляйн Гримм, – только и сказал, направляясь к двери.

Колени и локти саднило, жгло от царапин скулы – но к боли он отчего-то стал равнодушен. Устал, устал невозможно, невыносимо.

А вслед, настойчивое:

– Придете?

Не смея пообещать ничего определенного, лишь поклонился на прощание старухе с прялкой и вышел из избы.

Шагая за долговязой киргизовой фигурой по лесу, Бах смотрел вокруг и мучился недоумением: как мог он заплутать в столь понятном и простом месте? Вот они, дубы и клены – шершавые на ощупь, стволы пахнут весенней влагой, морщинистая кора кое-где прострелена зелеными листьями. Вот и тропа, еще хранящая их утренние следы, – прямая, ведет к берегу. Да и сама Волга – вот она, рукой подать, уже блестит меж коричневых древесных спин. Мог ли мир, такой осязаемый и пахучий, такой вещный, привычный, потерять на некоторое время свою прочность и обернуться зыбкой трясинной – или все это было лишь плодом воображения? Усталость накатывала, мешала думать.

– Это правда? – спросил он, глядя киргизу в глаза, когда тот оттолкнулся ногой от берега и взялся за весла. На ответ не надеялся, спросил просто так, не имея больше сил держать мучивший вопрос в себе. – Все, что было сегодня со мной, – правда?

Ялик резал воду, рывками удаляясь от берега. В черных зрачках киргиза, сплюснутых сверху и снизу складчатыми веками, играли отсветы волн. Крупные капли летели с лопастей весел на его обнаженные руки и плечи, скатывались по ложбинам бугров между мышцами. Мерно скрипели уключины.

Бах отвернулся. Захотелось вдруг еще раз прикоснуться к страницам, которые листала недавно рука Клары Гримм. Он раскрыл томик – от листов едва уловимо пахло чем-то свежим, незнакомым – и нашел нужное стихотворение. Над его названием корявыми буквами было выведено, наискосок и без знаков препинания: “Не оставляйте меня прошу”.

3

Бах стал ездить на хутор Гримм каждый день, после полуденного удара колокола. Ни единого раза после того дня не сыграло с ним воображение дурную шутку: правый берег принял чужака. Не раз и не два обежал Бах окрестности в поисках памятной рощи с пнем-старухой и буреломным оврагом – не нашел. Чаща была густа, но проходима, деревья оставались тверды и шершавы, камни – тяжелы, тропы – надежны. И хутор, и его обитатели оказались при ближайшем знакомстве не более чем странными.

Работники киргизы, выяснилось, и вправду плохо понимали немецкий: между собой общались на своем языке, отрывистом и резком. Бах даже выучил из него несколько слов, удивляясь про себя, как по-разному могут обозначаться одни и те же предметы и явления в разных языках. Взять, к примеру, простейшие сущности: небо и солнце. В немецком Himmel – легком, как дыхание, и светлом, как заоблачная лазурь, – сияет радужное Sonne, чьи лучи звенят золотыми струнами, переливаются нежно. У киргизов все иначе: их к?к – плотное и выпуклое, как крышка казана, – прихлопывает человека сверху, и не выберешься; каленым гвоздем вбито в крышку медно-красное к?н. Так стоит ли удивляться, что лица людей, говорящих на этом твердом языке, несут на себе его суровый отпечаток? Хотя, возможно, самим киргизам все представлялось в точности наоборот, и многосложная немецкая речь тяготила их привыкшее к скупому и четкому звучанию ухо.

Старуха Тильда, почти оглохшая от долгой жизни, но сохранившая зоркость глаз и ловкость пальцев, охотнее проводила время за прялкой и ткацким станком, чем в разговорах с людьми. Выходившая из-под ее мозолистых пальцев нить была тонка необыкновенно (недаром колонисты говорят: “Чем седее волос – тем тоньше пряжа”), а полотно – гладко, словно фабричное. Вся одежда на хуторе, зимняя и летняя, была соткана и пошита ею, так же как нарядные скатерти, напоминающие черную паутину, усыпанную красными и синими цветами; простыни и наволочки, кружевные кроватиные покрывала. При случае Бах внимательно рассмотрел босые старухины ступни: на каждой было пять пальцев, и ни одним больше.

Хозяин хутора, обжорливый Удо Гримм, показывался редко – постоянно бывал в отлучках, иногда неделями. Бах несколько раз наблюдал, как долговязый киргиз-перевозчик провожает хозяина на ялике вниз по течению, к Саратову: Гримм предпочитал путь по воде пешему и редко запрягал коня в телегу или ехал верхом.

Киргиза-лодочника звали Кайсаром, говорить он умел, но не любил: за все лето Бах единственный раз услышал, как тот коротко выругался, когда однажды посреди Волги им попала под весло длинная тушка осетра, перевернутая вверх раздутым перламутровым брюхом, – плохая примета, не повлекшая за собой, однако, дурных последствий.

Вечерами, перебираясь на родной берег, Бах удивлялся, что не замечал раньше юркий Кайсаров ялик, мелькающий у подножия гор. Впрочем, в этом не было ничего странного: Волга была в этих краях столь широка, что даже добротные гнадентальские дома казались с правого берега всего лишь россыпью цветных пуговиц, среди которых булавкой торчала колокольня.

Жизнь на хуторе текла уединенная. Каждый отъезд и возвращение хозяина становился событием, от которого велся дальнейший отсчет времени. Кроме Гримма, никто из хуторян из дома не отлучался: Клара еще не выезжала в мир, а Тильда за древностью лет уже и позабыла, когда последний раз была там. Киргизы (их было не то пятеро, не то семеро, Бах так и не научился их отличать, чтобы пересчитать точно), казалось, были вполне довольны укромностью лесного существования. Бах подозревал, что у некоторых, а то и у каждого, в прошлом имелись темные пятна, которые легче легкого спрятать в тихом, укрытом от людских глаз месте. Как бы то ни было, ни единого раза он не заметил, чтобы кто-то из работников посмотрел с тоской через реку на родные степи. Больше того, один киргиз был заправским охотником, каждый день уходившим в леса с двустволкой, а Кайсар – сноровистым рыбаком, в удачные дни приносившим к ужину до полупуда судаков и сазанов. Никогда прежде Бах не встречал киргизов, умеющих охотиться или рыбачить, – исконным и единственным их занятием колонисты всегда считали разведение скота. Вопреки этому мнению, и дичь, и рыба имелись на хуторе Гримм в достатке. В остальном жили натуральным хозяйством: скота и птицы было вдосыть, огород приносил овощи, а урожайя яблок хватало почти на год, до следующей весны.

Бах скоро вписался в эту размеренную жизнь. Он проскальзывал в дом, маленький и неприметный, не привлекая внимания и никого не смущая любопытным взглядом или докучливым вопросом. На кухне его обычно ждал обед (к слову, горячий и весьма приятный на вкус), а в гостиной за уже привычной ширмой – ученица в неизменной компании молчаливой сторожевой старухи с прялкой.

Начинали с главного – с устной речи. Кларе предлагалось рассказать что-либо, Бах слушал и переводил – перелицовывал короткие диалектальные обороты в элегантные фразы высокого немецкого. Ученица повторяла за учителем. Двигались не спеша, предложение за предложением, слово за словом, будто шли куда-то по глубокому снегу след в след.

Поначалу Клара терялась, не могла найти темы для беседы: собственное существование ее было бедно происшествиями, а о чужих судьбах она и вовсе не слыхивала. Но решение скоро было найдено: стали рассказывать сказки. Нянька Тильда с детства развлекала воспитанницу страшноватыми историями: о пасущих овец слепых великанах; о мышах, загрызших во времена большого голода злобного епископа; о за?мках, под пение псалмов возносящихся со дна озер и рек, чтобы с рассветом кануть обратно в глубины вод; о злобных гномах, кующих серебро в подземных пещерах; об отцах, отрубаящих руки дочерям, и о дочерях, заставляющих матерей плясать на пылающих углях; о жестоком охотнике, после смерти обреченном скакать сквозь леса в окружении своры собак за призраками замученных им зверей, – скакать, чтобы никогда не догнать... Клара знала многие легенды наизусть, пересказывала охотно.

Как отличались они от знакомых Баху книжных сказок! Изложенные безыскусным языком диалекта, лишенные изящества и лоска высокого немецкого, не прошедшие придирчивую цензуру составителей, сюжеты эти звучали как обыденные сообщения о происшествии на соседнем хуторе, как скупые газетные заметки о бытовых преступлениях. Истории эти, вероятно, привезены были с германской родины еще во времена Екатерины Великой и с тех пор изменились мало или не изменились вовсе, прилежно передаваемые из уст в уста поколениями немногословных и не склонных к фантазиям Тильд. Не было в этих сказках волшебства и красоты, одна лишь вещная жизнь. И Клара верила в эту жизнь, как верила в то, что приложенная ко лбу кислая капуста избавляет от головной боли, а обильный бычий помет обещает славный урожай. Она не видела существенной разницы между приключениями сказочных героев и скитаниями Моисея, между походами заколдованных рыцарей и бунтом страшного Емельки Пугачева, между блуждающим по свету голубым огоньком чумы и недавним большим пожаром в Саратове, известие о котором долетело до самых отдаленных уголков Поволжья. И первое, и второе, и третье, несомненно, могло когда-то случиться и, скорее всего, случилось – в том безбрежном темном облаке, каким представлялся мир вокруг маленького хутора Гримм. Кто взялся бы утверждать обратное?

Наговорившись вдоволь, переходили к письму: чистописание, диктант, изложение рассказов учителя. Эти часы Бах любил меньше всего – вместо голоса Клары ему был слышен лишь скрип ее пера, который он скоро научился различать за жужжанием старухиной прялки.

Но затем – затем наступал третий урок, любимейший час Баха, кульминация дня – чтение. Он передавал ученице привезенную с собой книгу – как у них и повелось, просовывая под ширму. И Клара читала – медленно, по слогам, тихим детским голосом. В ее невинных устах баллады Гёте и Шиллера приобретали странное звучание: ангельская интонация, с которой прочитывались пылкие любовные строки, удивительным образом придавала им оттенок порочности, а неизменная ласковость при описании даже самых страшных эпизодов многократно усиливала их сумрачный смысл.

...Ез-док о-ро-бе-лый... не ска-чет, ле-тит...

Мла-де-нец тос-ку-ет... мла-де-нец кри-чит...

Ез-док по-го-ня-ет... ез-док до-ска-кал...

В ру-ках е-го мерт-вый мла-де-нец ле-жал...

Бах слушал строфы, знакомые с юности, и по телу его пробежала морозная дрожь – таким выразительным неожиданно оказывалось Кларино прочтение. Он поправлял ее произношение, для вида бормотал какую-то нравоучительную чепуху, но сам желал лишь одного: чтобы Клара читала дальше. И она читала – трагические немецкие баллады, выросшие из жестоких сказок и мрачных легенд: рыбаки тонули в волнах, привлеченные сладостными голосами морских дев; короли падали замертво на веселых пирах; мертвые невесты приходили разделить ложе с живыми еще женихами и пили их кровь...

Иногда же удивительный Кларин голос действовал на смыслы противоположным образом: очевидная безысходность, которой были напоены строки, растворялась в нежных интонациях, уступая место надежде.

Гор-ны-е вер-ши-ны спят во тьме ноч-ной...

Ти-хи-е до-ли-ны пол-ны све-жей мглой...

Не пы-лит до-ро-га... не дро-жат лис-ты...

По-до-жди не-мно-го... от-дох-нешь и ты...

Бах слушал “Ночную песнь” и впервые в жизни верил, что одинокого странника ждет не притаившаяся в горных пропастях ледяная вечность, а утро, и вместе с ним и свет, и тепло, что солнце вот-вот забрезжит за дальней горой и

отдохнувший путник встанет и пойдет дальше...

Бах готов был слушать Клару часами. Она же хотела слушать его и, устав читать, просила рассказать что-нибудь “поучительное” (из географической или исторической науки) или “занимательное” (из хроники Гнаденталя, который представлялся ей средоточием бурной общественной жизни). Бах уступал, но, предчувствуя близкое окончание урока, через несколько минут вновь приказывал строго: читай!

Тихий голос Клары скоро наполнил жизнь Баха, как воздух заполняет полный сосуд. С этим голосом он здоровался по утрам, просыпаясь. Этот голос, звучащий внутри Баха едва различимо, заглушал привычное утреннее многоголосье: и рев скота, и петушиные крики, и песни горластых гнадентальских хозяек, и даже гулкий звон пришкольного колокола. Этот голос иногда мерещился перед отходом ко сну, откуда-то из-за закрытого окна, и Бах, проклиная свое дурное воображение и ни на что не надеясь, тем не менее выскакивал на улицу, полуодетый, озирался заполошно, затем тащился обратно – скорее спать, чтобы приблизить завтрашний день.

Сны Баха, ранее представлявшие собой живые картины, превратились теперь в устные рассказы: все многочисленные образы слились в единственный знакомый голос – Бах не смотрел, а слушал сны. Слушал с радостью – если голос был спокоен и нежен; с тревогой – если голос подрагивал от волнения; а иногда... о, иногда голос этот звучал чуть ниже обычного, в нем проскальзывали легкая хрипотца и какая-то незнакомая утомленная интонация. В такие минуты Бах вскакивал в постели, задохнувшись от непонятного испуга, со взмокшими висками. Заснуть потом не получалось уже до утра.

Бах часто размышлял, что случилось бы, упави однажды разделяющая их с Klarой ширма, – сама по себе, от нечаянного сквозняка, например. Представлял – в мельчайших подробностях, – как стонет открываемая кем-то входная дверь; порывом ветра распахивает окно, и оно хлопает громко, аж стекло дребезжит; а ширма, скрипнув коротко, – парусами надуваются полотняные створки – падает оземь с грохотом. Что сделал бы в это мгновение он, Якоб Иванович Бах? Зажмурился бы, вот что. Закрыв бы глаза руками, плотно, уткнулся лицом в колени и сидел так, пока старуха Тильда не поставит загородку обратно и не хлопнет его по плечу: все, поднимайся, можно смотреть. Бах не хотел, больше того – боялся, что ширма упадет. Он боялся увидеть Кларино лицо.

Нет, поначалу он желал этого, желал страстно. Долго пытался вообразить ее черты – лежа перед сном, перебирал варианты: девушка могла оказаться красавицей, простушкой, а то и вовсе дурнушкой. Он, конечно, предпочел бы милое невзрачное лицо, без явных признаков красоты: пухлое или бледно-сухощавое, курносое или рябое, почти безбровое от чересчур светлых волос или со смуглой цыганской кожей... Потом вдруг испугался, что Клара – урод: с дыркой вместо носа или скошенным лбом. Или – калека: с обожженным при пожаре телом, отнятой рукой или ногой. Слепая. Хромая или кривоногая. Сухоручка. Горбунья. Карлица. Хуже этого могла быть только безупречная, ослепительная красота... Подобные мысли были мучительны и так истерзали душу Баха, что он запретил себе фантазировать о внешности ученицы: ему вполне хватало ее чарующего голоса. Мудр, ох как мудр был Удо Гримм, воздвигнув между ними спасительную стену!

И все же самая отчаянная часть души Баха стремилась узнать о Кларе больше – вопреки собственному разумному запрету. Как и в день знакомства, он выглядывал в щели под ширмой кончики Клариных пальцев, передавая книгу для чтения или бумагу для диктанта; иногда замечал полукружия розовых ногтей – это смущало его необычайно. Иногда в ясный вечер закатное солнце простреливало комнату лучами – на полотнище ширмы, как на экране, проступало размытое серое пятно: Кларина тень. А изредка – и эти моменты особенно запоминались – увлеченная разговором или рассуждениями Клара вставала и вышагивала вдоль ширмы (три шага в одну сторону и три в другую), полотняные створки при этом чуть заметно колыхались; Бах поворачивал лицо на звук шагов и вдыхал, глубоко и бесшумно: казалось, ноздри чувствуют легкий аромат девического тела. Это было нехорошо, стыдно; ругал себя, обещал прекратить, но отчего-то не прекращал.

Впрочем, к сближению стремилась и сама Клара. Все страницы в томике Гёте скоро покрылись ее короткими и наивными посланиями – она старательно выводила их карандашом на полях каждый раз, как получала книгу. Листая томик – их с Кларой тайный инструмент переписки, – Бах мог проследить за ее успехами в обучении: постепенно буквы становились менее корявыми, ошибки из слов исчезали, а знаки препинания, наоборот, появлялись.

Мне сегодня снилась черная щука

У меня глаза голубые а у вас?

Во что одеваются люди в Гнадентале?

Я не умею плавать

Вы в детстве тоже боялись собак?

Тильда притворяется глухой, а все слышит.

Расскажите еще смешное про старосту Дитриха.

Сегодня снился белый волк.

Почему у вас грустный голос?

Не хочу в Германию, не хочу замуж.

Поначалу Бах не знал, стоит ли отзываться на секретные послания и тем самым поощрять опасную переписку: если бы Тильда заметила что-то и доложила хозяину, уроки наверняка прекратились бы. Затем решил все же отвечать, но столь хитроумным способом, что стороннему наблюдателю понять что-либо было решительно невозможно. В тексты ежедневных диктантов он вплетал ответы на Кларины вопросы (Пишите следующее предложение, Клара, не отвлекайтесь. “У меня светло-карие глаза”. Подумайте хорошенько, прежде чем написать слово “светло-карие”. И вспомните вчерашнее правило о написании сложных слов...). Повествуя о жизни поэтов и полководцев, дополнял их деталями собственной биографии (...Об этом мало кто знает, но Гёте всю жизнь боялся собак, а также совершенно не умел плавать, хотя и родился на большой реке под названием Майн. Видите, Клара: никто не совершенен, даже признанные гении...). Какие-то свои реплики приписывал все тем же поэтам, политикам, философам и монархам (...И сказала себе будущая царица Екатерина, пока еще не российская самодержица, называемая Великой, а всего лишь юная и никому не известная немецкая принцесса: “Тяжел венец венчальный, а неизбежен” ...). Был уверен, что Клара поймет – расшифрует любой код и разгадает любое послание.

Все, что делал теперь Бах, о чем задумывался и размышлял, было – для нее. Готовился к уроку загодя, еще с вечера: подбирал темы для бесед; копался в памяти – искал, какой бы еще историей рассмешить Клару или заставить вздохнуть испуганно. Стал приглядываться к гнадентальцам, выискивая интересное и забавное в их облике, вспоминал бытующие в колонии истории. Ей-же-ей, как много оказалось вокруг смешного! Впервые в жизни заметил, к примеру, что морщинистая физиономия художника Фромма поразительно похожа на сусликову морду, а фигура толстухи Эми Бёлль, которую никто иначе, как Арбузной Эми, не называл, действительно – вылитая гора арбузов.

– Есть у нас в Гнадентале невероятно тучная женщина, – рассказывал Бах назавтра, вышагивая вдоль ширмы с заложенными за спину руками и хитро поглядывая на полотняные перегородки. – Арбузная Эми. Прозвали ее так вовсе не за щеки, даже в пасмурный день алеющие ярко – за версту видать. И не за крошечные глазки, сверкающие на лице черными семечками. Дело – в ином!

– В чем же? – тихо отзывалась Клара, во вздохе ее слышалось предвкушение.

Бах сразу не отвечал – раскручивал сюжет медленно, как и было задумано.

– Что говорит хозяйка в Гнадентале – да и во всякой приличной колонии: в Цюрихе, Базеле, Шенхене, даже и в Бальцере, – при посадке овощей и ягод?

– “Расти именем Господа”, – находилась Клара, привычная к огородному труду.

– Ну, или изредка “Расти под небесами, приходи к нам на стол”, – соглашался Бах. – А что говорит Эми?

– Что?

Бах выдерживал длинную паузу – дожидался, пока нетерпение Клары достигнет предела и она переспросит досадливо:

– Так что же? Что она говорит?

– Втыкая арбузные семена в мокрую землю, бесстыдница шепчет каждому... – Бах понижал голос и замедлял темп, словно повествуя о чем-то трагическом, –

...“Вырастай с мой зад – будет урожай богат!”

Смущенное хихиканье за ширмой.

– А дынным семечкам она говорит...

– Что?

– “Вырастай с мою грудь и такой же сладкой будь!”

Хихиканье превращалось в смех.

– И ведь вырастают! – голос Бах вновь наполнялся силой, гремел по гостиной. – На других огородах арбузята рождаются мелкие, кислые. А у Эми – такие огромные, что в одиночку и не обхватить, словно сила какая их изнутри распирает! – Он раскидывал в стороны руки, как актер на сцене в приступе вдохновения.

Смех за ширмой крепчал, разливался хохотом.

– Когда июльским днем Эми возится на бахче среди подросших полосатых красавцев, низко наклонившись к земле и подставив палящему солнцу знаменитый зад, обтянутый зеленой юбкой, иной раз и не отличишь сразу, где арбуз, а где хозяйка. – Бах недоуменно поднимал брови и пожимал плечами. – Под стать и дыни на Эминой бахче: увесистые, чуть припухлые с одного конца, с задиристо торчащим кончиком. Приличный человек глянет – сразу краской и зальется...

Клара пыталась что-то сказать – протестовала против пикантных деталей, – но приступы хохота не давали произнести ни слова. Бах же, возбужденный, с откинутой назад головой и растрепавшимися волосами, все поддавал жару.

– Говорят, студент-недоучка из семейства Дюрер, влекомый исключительно научным интересом, однажды выследил Эми при купании в Волге с целью сличить конфигурацию тела и плодов. Так вот, он уверял, что сходство – абсолютное: выращиваемые Эми арбузы и дыни словно отлиты из частей той же формы, что и сама женщина!

Бах описывал руками в воздухе те самые формы, забывая, что Клара его не видит. Она только постанывала из-за ширмы в изнеможении, не в силах более смеяться.

– Другие хозяйки пробовали было, краснея от смущения и тщательно скрывая друг от друга, повторять Эмины присказки на своих огородах, но ничего путного из этого не выходило. Иной раз и вовсе урожай в земле сгнивал. Посокрушались женщины, да и бросили это дело. И то верно: Арбузная Эми – такая одна! Хвала провидению, пославшему ее родиться в Гнадентале! – Бах хватал резной стул, на котором обычно сидел, и с выразительным стуком ставил его на пол, обозначая конец повествования, – так громко, что невозмутимая Тильда вздрагивала и теряла из вида крутившуюся перед носом шпульку.

– Господи Всемогущий, – шептала Клара, отсмеявшись и уняв расходившееся дыхание; в голосе ее, недавно таком веселом, явственно слышалась нотка душевного страдания. – Приведется ли мне когда-либо побывать в этом замечательном Гнадентале?!

Воистину присутствие Клары творило с Бахом удивительные вещи. Даже грозы – могучие заволжские грозы, с косматыми синими тучами в полгоризонта и вспышками молний в полнеба, – потеряли над ним всякую власть. Кровь Баха волновалась теперь не разгулом небесных стихий, а тихими разговорами с юной девицей, скрытой за тряпичной ширмой. Каждый день был теперь для него – как желанная гроза, каждое слово Клары – как долгожданный удар грома. Снисходительно смотрел Бах на бушевавшие время от времени в степи бури, на извергавшиеся в Волгу буйные весенние ливни – нынче он сам был полон электричества, как самая могучая из плывущих по небосводу туч.

Так шли недели и месяцы.

В мае, когда вернувшиеся с пахоты гнадентальцы засаживали бахчи дынями, арбузами и тыквами, а огороды у дома картофелем, Бах с Кларой читали Гёте.

В июне, когда стригли овец и косили сено (торопясь, пока не выжгло траву палящее степное солнце), – перешли к Шиллеру.

В июле, когда убирали рожь (по ночам, чтобы на яростной дневной жаре из колосьев не выпали семена) и кололи молодых барашков, чья шерсть мягче

ковыльного пуха, а мясо нежнее ягодной мякоти, – закончили Шиллера и приступили к Новалису.

В августе, когда наполняли амбары обмолоченной пшеницей и овсом, а затем всей колонией варили арбузный мед (пить его будут круглый год, разводя пригоршней льда из домашнего ледника и добавляя пару ягод кислого терновника), – обратились к Лессингу.

В сентябре, когда собирали картофель, репу и брюкву, когда распахивали на волах степь под черный пар, когда пригоняли с летних пастбищ скот и отстраивали из окаменевшего на летнем солнце саманного кирпича дома и хлева, – опять вернулись к Гёте.

А когда до начала октября, а с ним и нового учебного года оставалось несколько коротких дней, Клара написала в основательно потрепанной книге, как раз над стихотворением “Ночная песнь”: “Завтра мы уезжаем в Германию”.

Бах прочитал послание, уже сидя в лодке молчаливого Кайсара. Прочитал – и не поверил сперва: не могла жизнь, такая обильная, основательная, в одночасье сняться с места и двинуться в другую страну. Куда-то должны были деться все эти овцы с ягнятами, индюки и гуси, кони, телеги, пуды яблок в щелястых ящиках, бочки с наливкой, аршинные ожерелья сушеных рыбин, ворохи небелёных простынь и наволочек, полки с посудой, витрина с курительными трубками... Все эти угрюмые киргизы, Кайсар с его яликом, Тильда с неизменной прялкой. И – Клара.

Затем припомнил: да, кажется, и впрямь стояли на заднем дворе какие-то сундуки, а позже их погрузили в телеги и обвязали ремнями. Кажется, куры и гуси в последнее время не путались под ногами, словно исчезли с хутора. А яблоневые стволы в саду уже обмотали мешковиной, хотя обычно деревья укутывают зимой, когда ляжет снег...

– Стой! – закричал Кайсару. – Перестань грести! Хозяева твои и вправду завтра уезжают?

Вспомнив, что тот не понимает немецкий, пробовал было изъясниться по-киргизски – той дюжиной слов, что выучил за лето, – но ничего из этого не вышло: мычал, подбирая слова, возбужденно махал руками, указывая то на

прибрежные горы, то на запад, в сторону Саратова; нечаянно уронил в Волгу листки с сегодняшним диктантом, и они разлетелись по воде, исчезли где-то за кормой. Кайсар лишь глядел отчужденно и хмуро, как глядел бы на бьющуюся в последних судорогах рыбу. Греб.

– Останови! – Бах схватился за весла. – Поедем обратно на хутор!

Тот приостановился на мгновение, скovyрнул чужие руки – Бах впервые ощутил, какая крепкая у киргиза хватка, – и взялся за весла вновь.

Задохнувшись от волнения и нахлынувших мыслей, Бах смотрел, как рывками удаляется от него белесая каменистая гряда – лодку словно отталкивало, равнодушно и неумолимо. Ветер качал поверху деревья, гнал крупную волну – и по листве, уже успевшей зажелтеть местами, и по тяжелой сентябрьской воде. Сотни белых бурунов бежали по Волге – бесконечной отарой по необозримому полю. Лодку раскачивало, но Кайсар умелой рукой направлял ее, килем резал пополам каждый встречный бурун. Бах, прижав к груди томик Гёте, съежился на банке, не понимая, зябко ли ему от ветра или от собственной тоски, и не замечая пенные брызги, летевшие на лицо и плечи...

* * *

Ночью не спал, думал. Утром, сразу после шестичасового удара колокола, побежал к старосте Дитриху – просить лодку с гребцом. Дитрих вместо ответа подвел шульмейстера к окну и молча приоткрыл занавески – за стеклом, затянутым злой моросью, бушевала непогода: напитанные холодной влагой тучи волоклись по реке, чуть не цепляя ее лохматыми хвостами, волна шла высокая, тугая – о выходе на Волгу не могло быть и речи. Баху бы объяснить все толком, рассказать, упросить, потребовать, в конце концов, но он лишь лепетал что-то умоляющее, запинаясь и глотал слова. Ушел ни с чем.

Побежал по дворам – один, без старосты. Просил каждого, кто имел хоть захудалую лодчонку: и свинокола Гауфа, и мукомола Вагнера, и дородного сына вдовы Кох, и мужа Арбузной Эми, тощего Бёлля-без-Усов (был еще Бёлль-с-Усами, но такой злыдень, что к нему и соваться было боязно), и много еще кого. Повторял одни и те же слова и прижимал руки к груди, словно желая вдавить ее по самый позвоночник, кивал головой мелко, и заглядывал в глаза, и улыбался жалко. И каждый ему отказывал: “Вы бы, шульмейстер, лучше не дурили, а

поберегли себя для наших деток. Потопнете – будете рыб на дне грамоте обучать! Так-то!”

Побрел к пристани и сидел там, один, не чувствуя ветра и усиливающейся измороси. Смотрел, как могучие серые валы ударяют в причал и заливают его грязно-желтой пеной. За дождем и сумраком того берега не видел вовсе.

Лодки еще вчера вечером выволокли на сушу, и теперь они лежали на сером песке, днищами вверх. Когда падавшие с неба капли потяжелели, стали бить по щекам, Бах опомнился, залез под чью-то плоскодонку, обильно поросшую по бокам водорослями. Сидел на земле, скрючившись и упершись затылком в днище. Слушал биение дождя о дерево, бесконечно елозил пальцами по влажному песку. Что сделал бы, отвези его нынче какой-нибудь смельчак на правый берег? Что сказал бы Удо Гримму, глядя снизу вверх на его могучую бороду и пышные усы? Бах не знал. Но уйти с берега сил не было.

Ветер не стихал два дня – и два дня Бах ходил в Гнаденталь, только чтобы бить в колокол. Все остальное время сидел на берегу, кутаясь от холода в старый овчинный полушубок. За два дня можно было доехать до Саратова, сесть на поезд и отбыть в Москву, чтобы позже взять курс на далекую Германию.

Вечером третьего дня, когда волны стали ниже и ленивей, пена с них сошла, а на ватном небе глянуло скупое солнце, к скрючившемуся на перевернутой лодке Баху подошли рыбаки – сообщить, что, так и быть, “свезут шульмейстера на ту сторону, ежели ему по самое горло туда приспичило, но только завтра, когда мамка-Волга утихомирится вконец”. Бах только посмотрел на них тусклыми глазами и молча покачал головой. Рыбаки переглянулись, пожали плечами, ушли.

Он еще долго сидел, глядя на реку, – следил, как на противоположном берегу в серой дали проступает светло-розовая полоска – очертания гор. Вспомнил, что не спал давно. Что завтра – первый день октября, начало учебного года. Слез с лодочного бока и поплелся домой. За эти дни прозяб до последнего волоса, уже много часов его била лихорадка, но топить в квартире было нечем – ученики принесут кизяк и дрова только завтра.

Подходя к шульгаузу, заметил на крыльце человеческую фигуру – кто-то сидел на ступенях, маленький, неподвижный. Внезапно стало жарко, но дрожь в теле

отчего-то не прошла, а усилилась.

Заслышав шаги в темноте, фигура вздрогнула, словно проснувшись, медленно поднялась.

Бах остановился, не дойдя до крыльца пары шагов и чувствуя, как горячая капля катится по позвоночнику. В густой темноте разглядеть ночного гостя было невозможно – слышалось только дыхание, легкое и прерывистое, словно испуганное.

– Мне сказали, здесь живет шульмейстер Бах, – произнес тихо знакомый голос.

– Здравствуйте, Клара, – ответил сухими непослушными губами.

Отворил дверь, и Клара вошла в дом.

4

Той ночью он солгал ей, что керосиновые лампы пусты. Зажечь свет и увидеть ее лицо было невыносимо, этого бы не вынесло утомленное Бахово сердце.

По его настоянию Клара разделась и легла в постель, под единственную имевшуюся перину. Пока Клара устраивалась, Бах ушел в классную комнату и ходил там взад-вперед, в красках представляя себе все ее злоключения и тяготы сегодняшнего дня. Она рассказала, как ушла от отца: на первой же от Саратова станции выскользнула из купе, где ей предписано было провести весь путь до Москвы (Тильда задремала, сморенная покачиванием эшелона), и покинула вагон, никем не окликнутая. Быстро шла куда-то, не оборачиваясь и не поднимая глаз, пока не обнаружила себя среди многочисленных торговых рядов, телег, лошадей и людей, говорящих на незнакомом языке. Стала спрашивать дорогу в Гнаденталь, ее долго не хотели понимать. Наконец рыжебородый мужик разобрал в ее речи название колонии, вызвался отвезти. Не обманул, доставил: сначала на пароме через Волгу, затем в телеге по левому берегу – до Гнаденталья. В оплату за извоз забрал дорожный кошелек, привязанный заботливой Тильдой к Кларину поясу (сколько в нем было денег, Клара не знала, так как не заглядывала туда вовсе).

Выходив по классу добрый час, а то и два, Бах обнаружил, что озноб и усталость прошли без следа. Он снял ботинки и пробрался в комнату, стараясь не скрипеть половицами. Дыхания Клары слышно не было. Испугавшись, что она пропала или вовсе не приходила в его темную каморку, а лишь привиделась в лихорадке, он метнулся к окну, спотыкаясь и роняя стулья, раздернул занавески... здесь! Она была здесь – едва заметная фигурка под периной, с раскинутыми по подушке волосами и неразличимым в сумраке ночи лицом. Вздогнула от шума, повернула голову к стене и заснула вновь.

Задвигать занавески Бах не стал. Осторожно поднял стул, поставил у кровати. Сел. Упер локти в колени, подбородок поставил на раскрытые ладони и стал смотреть на Клару. Спать не хотелось, неудобства скрюченной позы своей не замечал.

Черная безлунная ночь сменилась темным утром. Медленно лепились из густого голубого воздуха Кларины черты: завиток маленького уха, абрис щеки, кончик брови. Неясные черты эти, еще размытые сумраком, волновали сильнее четкой картины – из них мог нарисоваться любой портрет. Бах желал бы продлить минуты незавершенности и неузнанности, как можно дальше оттянуть момент встречи, и даже с каким-то облегчением вспомнил, что пора звонить в шестичасовой колокол.

К счастью, Клара от звона не проснулась, и Бах какое-то время еще посидел с ней рядом. Близость ее удивительным образом согревала – он даже расстегнул ворот мундира. Заметил вдруг, что ткань на бортах изнасилась окончательно, а рукава требовали очередной починки. Словно чужими глазами, оглядел сейчас и свою квартирку: давно не беленные стены в трещинах, пузатая громадина печи перегородила пространство, притулилась в углу заваленная книгами соломенная этажерка с отломанной ногой, вместо которой подложен камень... Верно, такого жилья до?лжно было стыдиться, и он бы непременно стыдился в другой раз, и мундира своего потрепанного стыдился бы, но сейчас в душе не было места смущению – так тревожно было от предстоящей встречи.

Клара не проснулась к восьми, и он ушел на школьную половину, так и не увидев ее лица. В полуденный перерыв возвращаться в квартирку не стал – нашел себе десяток занятий в классе: подтопить остывшие печи, переговорить с учащимися, подклеить порванные учебники... Руки справляли бесконечные дела, губы произносили тысячи слов, а уши чутко прислушивались к тому, что происходило за стеной. Там было тихо.

После уроков, проводив последнего ученика и затворив за ним дверь шульгауза, Бах хотел уже наконец идти к себе, но вместо этого почему-то сел на ученическую скамью – в первом, “ослином”, ряду – и сидел так, со всей силы разглаживая вспотевшими ладонями сукно на коленях, пока дверь с жилой половины не открылась: Клара вышла к нему сама.

Она была красива – красива ослепительно, красива сверх всякой меры. Не могло же быть, что лишь благодаря воображению Бах воспринял ее черты как безупречные: и нежность кожи, и гладкость волос, и синеву глаз, и веснушчатую россыпь на щеках. Он сидел на скамье, сгорбившись, оглушенный этой красотой, не зная, что сказать. Она подошла и села рядом. От ее внимательного изучающего взгляда стало не по себе – потеплели щеки и корни волос, вдруг навалился стыд: не за жалкий мундир и плохонькую квартиру, а много хуже – за мягкость и невыразительность собственной физиономии, за редкость волос на голове и хилость шеи, за частое просительное выражение глаз, напоминающее собачье. Бах прикрыл было покрасневшее лицо руками, но вспомнил о грязных ногтях, не чищенных вот уже три дня, и торопливо опустил руки.

– Что же теперь делать? – спросил беспомощно, отвернувшись.

– Разве я не жена вам теперь, господин шульмейстер?

Бах развернулся резко, словно его хлестанули классной линейкой по спине.

“Не смейтесь надо мной, Клара! – хотелось ему закричать. – Посмотрите же на меня, посмотрите внимательно! – Так и подмывало вскочить, схватить ее за руки и подтащить к окну. – Посмотрите и скажите искренно: неужели же такого мужа вы себе намечтали?!”

Вместо этого он лишь открывал и закрывал рот, подобно вынутому из воды карасю. Верно, ему полагалось упасть на колени, или поцеловать ее руку, или сделать еще какой-либо галантный жест – но вместо этого он лишь улыбнулся несмело, затем сморщился, залепетал что-то путано, еле слышно, закивал головой и попятился к двери. Уперся в нее спиной, вытолкнулся задом и выскочил вон – искать пастора Генделя.

* * *

Пастор Адам Гендель, однако, обвенчать молодых отказался. Девица, невесть откуда появившаяся в квартирке шульмейстера, была столь юна, что возникали сомнения в ее дееспособности: было ли ей на самом деле семнадцать, как она утверждала? Подтверждающих возраст документов, равно как и прочих бумаг, у нее при себе не имелось. А главное, не имелось свидетельства о конфирмации, которое получает каждый юный колонист, и удостовериться в чистой христианской сущности девицы не представлялось возможным. Пастор провел с Кларой длинную беседу, проверяя ее познания катехизиса; вышел с экзамена бледный, с неумолимо сжатыми губами; рекомендовал немедленно разыскать родителей и вручить им “неразумное дитя”. А самой Кларе велел временно переселиться в пасторат и пожить там под присмотром пасторовой пожилой супруги – пока не найдутся родители или еще какие-либо свидетельства ее прошлой жизни.

Бах, краснея лицом и шеей, чудовищно запинаясь и не понимая, что с ним такое происходит, впервые в жизни решился возразить Генделю – и заявил, что Клара останется жить в шульгаузе. Предложил съездить на правый берег, пока не начался ледостав, и убедиться в существовании родного хутора Клары, а возможно, и отыскать следы Удо Гримма. Староста Дитрих, однако, отказал: все знали, что ступать на монастырские земли запрещено, что горы правобережья неприступны совершенно, что нет там ничего, кроме бесконечного дремучего леса. Также все знали, что шульмейстер Бах имеет странности, порой граничащие с безрассудством, и потому веры его словам нет.

Весть о юной фройляйн, чудесным образом появившейся ночью в шульгаузе и до такой степени околдовавшей Баха, что тот решился противоречить самому пастору, взбудоражила добродетельный Гнаденталь. Шульмейстеру тотчас припомнили все: и бесцельные прогулки вечерами, и неизменную склонность к одиночеству, и шалые гуляния в грозу, – все, что раньше прощалось и забывалось, было поднято со дна памяти и предъявлено: “Всегда был с придурью, а теперь и вовсе очумел!” При мысли, что девица неопределенного возраста, годившаяся Баху в дочери, проводит в его квартире ночь за ночью, гнадентальские хозяйки входили в раж: колония гудела разговорами о сомнительной фройляйн и безнравственном шульмейстере, столько лет вводившем добрых гнадентальцев в заблуждение своим простодушием.

На следующий день после проведенной пастором Генделем экзаменации Бах вывел Клару на прогулку, чтобы показать ей Гнаденталь и свои любимые места в округе. Затея эта завершилась печально: каждый встречный, едва завидев их,

переходил на другую сторону улицы, подальше от скандальной пары, останавливался и смотрел на них с брезгливым, но жадным любопытством, как смотрел бы на ящерицу с двумя головами или рака со звериными лапами вместо клешней. Женщины сбивались в кучки, склоняли головы и, касаясь щек друг друга оборками чепцов, шептались о чем-то, бросая на пару выразительные взгляды. Не отойдя и десятка дворов от шульгауза, Клара попросилась обратно.

С того дня из школьного дома не выходила: целыми днями сидела в комнатке Баха, прислушиваясь к происходящему на улице. Когда слышала громохание приближающейся телеги или гул чужих голосов – прятала лицо в ладони; когда телега удалялась, а люди проходили мимо – поднимала. Щеки ее побледнели и впали, тоньше и печальнее легла линия рта; в глазах же, наоборот, появилось что-то холодное и бесстрастное, словно жили они отдельно от тела и принадлежали другому человеку, много старше и мудрее Клары.

Когда какой-то дурень шутки ради решил заглянуть в окно и рассмотреть “знаменитую фройляйн” повнимательнее, Бах перестал по утрам раздвигать занавески. Когда кто-то кинул в окно комком глины – закрыл ставни, и теперь в комнате постоянно стоял полумрак. Удивительным образом это нравилось Баху: сумрак напоминал ему их первую с Klarой ночь.

Поначалу он старался развлечь ее разговорами – о прочитанных книгах, исторических деятелях, известных науке способах стихосложения. Но стоило ему поймать ее печально-вопросительный взгляд, в котором читались и тоска, и надежда, и какое-то робкое чаяние, как звуки застревают у Баха в горле, слова путались во рту, а мысли – в голове. Сбивался, мямлил, умолкал. И книги, и полководцы с монархами, и даже самые прекрасные поэмы были сейчас не к месту и некстати; рассуждать же о чем-нибудь другом Бах не умел. К тому же не покидало ощущение, что кто-то притаился по ту сторону окна, приложив любопытное ухо к ставенной щели, и замер в ожидании. Так понемногу бестолковая болтовня его угасла, уступив место привычному немногословию. Успокаивал себя тем, что в доме много книг, – Клара могла взять любую и развлечь себя чтением: и утром, когда он пропадал с учениками на школьной половине, и вечерами, когда возвращался в квартирку и сидел, блаженно прислонившись спиной к печи, с немим обожанием глядя на любимую женщину.

Бесконечно жаль было обманутых надежд Клары. Бах чувствовал себя виноватым и – счастливым, счастливым безмерно: оттого, что может видеть ее, слышать, а изредка – помогая снять котелок с печи или книгу с этажерки – даже

касаться локтем. Больно было видеть Клару, часами отрешенно сидящую на кровати, с поникшими руками, потухшими глазами, но какая-то часть его души радовалась ее заточению – так она принадлежала только ему. Горько было слышать упреки гнадентальцев, под их укоризненными взглядами он скукоживался и увядал, осознавая двусмысленность своего поведения и тяготясь ею; но стоило открыть дверь и войти в комнатку, уже пропитавшуюся едва заметным духом Клариных волос, услышать шорох ее платья, увидеть размытый темнотой профиль – и мысли о собственной вине пропадали бесследно, уступая место восторгу и вдохновению: рядом с Klarой он чувствовал себя могучим и всевластным, словно находился в центре грозы, словно кровь его была полна обжигающим весенним электричеством. Понимал, что разделить с ним его восторг Клара не может. Понимал и то, что продолжаться так больше тоже не может – что-то должно было оборвать этот затянувшийся абсурдный сюжет.

А слухи разрастались, как тесто в квашне. Распускала ли их намеренно чья-то злая душа, или они возникали сами, как заводятся порой даже у добропорядочного христианина противные вши, сказать было сложно. Слухи были богаты, разнообразны и содержали такие достоверные подробности, что и не захочешь – а поверишь! Шептались, что звать девицу вовсе не Клара, а Кунигунда; что она есть не кто иная, как тайная дочь Баха, который сначала уморил ее красавицу-мать, а теперь хочет жениться на собственном ребенке; что от макушки и до пупа она миловидна, а от пупа и до пяток – покрыта жесткими черными волосками наподобие ежовых колючек; что звать ее вовсе не Кунигунда, а Какилия; что в чулке правой ноги она постоянно носит свежесрезанный ивовый прут – никто не знает зачем; что звать ее вовсе не Какилия, а вообще никак не звать – до нынешней осени жила девица безымянной, прикованной цепями к колодцу на дне дальнего байрака.

О шульмейстере же говорили, что во время вечерних прогулок он встает у Солдатского ручья на колени, опускает лицо к воде и лакает жадно, подобно собаке; что раскапывает руками землю на скотомогильнике у байрака Трех волов и землей той мажет стены своей квартиры; что понимает по-турецки (уже одно только это обстоятельство выглядело крайне подозрительно); что много лет держал в степной землянке пленницу, а теперь хочет жениться на ней и эмигрировать в Бразилию.

Отдельно, выведя из избы детей и опустив голоса до жаркого шепота, рассказывали о непотребствах, творящихся по ночам в шульгаузе; причем к

концу осени слухи эти достигли такого накала и напитались такими красочными деталями, что услышавший их ненароком пастор Гендель три воскресные проповеди подряд посвятил греху злословия.

* * *

Первой отказалась водить в школу детей Арбузная Эми. Через три дня ни один ребенок не пришел утром на занятия. А через неделю мужчины, покончив с убоем свиней и заготовкой колбас на зиму, перебив большую часть домашней птицы и аккуратно уложив ошипанные и выпотрошенные тушки в домашние ледники, собрались на деревенский сход, который проходил обычно в школьном доме, и потребовали от старосты Дитриха нового учителя для гнадентальской школы.

Стоял конец ноября – морозный, многоснежный. Дороги были заметены, улицы безлюдны, редкие сани покидали родную колонию – села замерли в ожидании Рождества. В эту пору искать нового шультмейстера было делом безнадежным – и тем не менее дискуссия развернулась жаркая. То ли обсуждаемая тема горячила кровь мужчин, то ли знание, что за стенкой в маленькой квартирке находился предмет обсуждения – веснушчатая девица с невинными глазами и курносый профилем, – но голоса их в тот вечер звучали просто оглушительно, и старосте пришлось трижды стучать линейкой по кафедре, призывая к спокойствию.

– Старшего сына война убила, средние – в плену, а младшего даже в школе культурно выучить не можем: жена по утрам в шультгауз отпускать боится! Дело ли?! – кричал маленький тощий Коль.

– Собраться всем селом да и забрать девку из школы – силком! Засадить в подпол к пастору и не кормить три дня, чтобы легче каялось! – угрюмый Бёлль-с-Усами. – А шультмейстера – босиком вокруг Гнаденталя пустить, ночью! Глядишь – одумается!

– Выслать обоих! Выставить на волжский лед, с вещами, – и пусть чапают куда хотят! Хоть в соседнюю колонию, а хоть в самую Бразилию! – вечно поддакивающий Гаусс.

– Где мне вам в середине зимы нового шульмейстера взять? Из снега вылепить?! – староста Дитрих. – Бах, пока один жил, дело свое знал. Пусть и дальше живет – один. И детей пусть учит! А что с придурью в котелке – так это ничего. Немного дерьма-то – не помешает!

Порешили: просить пастора Генделя взять на себя преподавание в школе до Рождества, а заблудшего шульмейстера в последний раз призвать одуматься, вернуться в лоно общины, девицу Клару добровольно передать в руки церкви, а самому вновь приступить к своим обязанностям с начала января.

Бах весь вечер безучастно просидел у железной печурки: слушал собравшихся, но взглядом следил исключительно за всполохами огня. Когда его спросили, что он имеет ответить собранию, он только сморщился и передернул плечами: “Ничего не имею”. Ушли, оставили одного.

Он вернулся в квартирку. Клара стояла у печи, прижавшись к ней щекой. Конечно, слышала все, до последнего слова, – стенка между школьной и жилой половинами была тонкая, дощатая.

“Что же теперь делать?” – хотел спросить у нее, как несколько недель назад, но не посмел.

Стараясь не шуметь, закинул на печь старый полушубок (кровать с первого же дня уступил Кларе) и улегся, свернулся крендельком. Сам не заметил, как задремал.

Проснулся от ощущения: Клары в комнате нет.

– Клара!

Вскочил, огляделся: керосиновая лампа освещает пустую комнату. Хотел спрыгнуть с печи, но повернулся неловко и упал, зашиб локоть.

– Клара!

Метнулся за печь – никого.

В класс – никого.

Выбежал на крыльцо: никого.

– Клара!

Ветер ударил в грудь, ледяные иглы оцарапали лоб. Ежась, Бах заскочил обратно в квартирку, глянул на гвоздь у двери – пусто: Клара ушла в своей единственной душегрейке – суконной, на легкой вате. Натянул полушубок, нахлобучил на затылок малахай, сунул ноги в валенки, схватил в охапку утиную перину – укутать Клару – и выбежал в ночь.

Луна в небе висела желтая, тусклая, и снег в ее свете казался глыбами сливочного масла. Через всю площадь наискосок лежала черной полосой тень церковной колокольни. От крыльца шульгауза разбегались следы – много и во все стороны: половина села побывала сегодня на сходе. Бах замер на мгновение, а потом повернул к Волге. Не знал почему, казалось – так правильно.

Прижимая к себе объемистую перину и не видя за ней дороги, глотая колючий снег, то и дело спотыкаясь о выпадавшие из рук перинные углы, Бах кое-как миновал темные дома, уже укрытые сугробами, рыночную площадь с тремя высокими карагачами и притулившимися под ними торговыми рядами, колодезный сруб, свечную и керосиновую лавки и наконец очутился на берегу.

Огляделся: половина мира – черно-зеленое небо, половина – желтый покров снега на реке. По снегу, проваливаясь по пояс, бредет едва заметная тень: Клара.

Он пошел по ее следам. Догнал быстро: все же был немного сильнее. Догнав, набросил на плечи перину – Клара не сопротивлялась. Пошли дальше вместе. Он сказал, что пойдет первым – торить дорогу в сугробе труднее, чем идти следом. Клара не сопротивлялась.

Он шагал по вязкому снегу, чувствуя, как от усилий теплеет тело и согреваются руки. Не спрашивал, куда они идут. Знал: на правый берег – на хутор, домой.

Где-то на левом берегу оставались и школьный класс, еще полный тяжелого дыхания сердитых мужчин, и незапертая квартирка, непрогоревшие дрова в печи, недочитанная книжка в картонном переплете, недоштопанный мундир, обросшая инеем глиняная клякса на стекле, остатки каши в котелке, пара ложек керосина в лампе – вот, пожалуй, и все.

5

А хутор ждал их: утонувший в снегу по самые окна дом тоскливо глядел запертыми ставнями, яблони призывно тянули из сугробов заледенелые ветви. Еще при свете звезд Бах с Кларой растопили печь (в дровянице осталось несколько поленьев), накипятили снега в чайнике, напились горячей воды и прикорнули у огня, сморенные усталостью.

Проснулся Бах от яркого света: солнечные лучи пронизывали дом – от девичьей спальни, через гостиную, к тесной кухоньке с огромной печью посередине – Клара уже успела встать и распахнула все ставни. Так Бах с Кларой зажили в этом доме, отогревая его, комнату за комнатой, вершок за вершком.

Огромный снаружи, внутри он был не так уж и просторен, словно все пространство съедала необыкновенная толщина стенных бревен, каждое из которых было шире и хилого Баха, и хрупкой Клары. Единственной большой комнатой была гостиная, от которой расходились в стороны три спальни: девичья, Гримма и Тильды (слуги-киргизы спали в хлеву, где имелась собственная печь). Окна гостиной, схваченные толстым белым инеем, обрамляли белые же хлопковые занавески. На вместительных подоконниках темнели подсвечники. В углах – чугунные подставки под лучину, стулья с резными спинками и соломенные кресла. Длинная некрашенная лавка, крытая пеньковой циновкой, протянулась у печной стены (топилась печь из кухни, а в комнату глядел ее широкий бок, облепленный рыжей плиткой, более всего похожей на медовые пряники). На бревенчатых стенах пестрели вязаные кармашки – для ножниц, для Библии – и шелковый коврик с искусно вышитым изречением “Работа – украшение жизни”. Земляной пол был тщательно выметен и усыпан песком, словно только вчера прошелся по нему веник прилежной Тильды.

Спаленка самой Тильды была так тесна, что поместиться в ней мог лишь кто-то очень сухощавый и осторожный в движениях. Почти все пространство занимала огромная кровать со стругаными спинками и хищно раскоряченными ногами.

Под ней помещались два объемистых сундука с бережно хранимой старой одеждой и всяким прочим хламом; чтобы вытащить их на свет, приходилось опускаться на колени и что есть силы тянуть за железные скобы, прибитые к пузатым сундучным бокам, – лишь тогда подкроватные обитатели нехотя выползали, поскрипывая и оставляя на земляном полу длинные борозды. Раскрыть же сундуки можно было, только забравшись на кровать, – так тесно становилось в комнате при их появлении. Бах не уставал удивляться, сколь припаслива была служанка: в ее сокровищнице хранилось такое обилие нарядов, что хватило бы, верно, на весь Гнаденталь. Переложенные мешочками с горькой полынью во избежание прожорливой моли, слой за слоем лежали в сундуке: короткие суконные штаны с кожаными шнурами под колено; двубортные шерстяные жилеты, мужские и женские, с костяными, металлическими и стеклянными пуговицами; байковые, на ватной подбивке, душегрейки с бархатными воротниками; полосатые чулки самых ярких расцветок; пышные бумазейные чепцы с кружевной оторочкой и длиннющими лентами; расшитые цветной тесьмой многослойные юбки, шерстяные и бурметовые[2 - [Бурмет – грубая хлопчатобумажная ткань.]... Вещи эти были таких старинных фасонов, что подошли бы скорее для рождественского спектакля, чем для повседневной носки: не то и вправду были очень стары, не то просто пошиты по древнему образцу. Тильдина кровать была покрыта тонким черным покрывалом нитяного кружева, пирамидами высились стопки бесчисленных подушек, одетых в расшитые крестом цветные наволочки. Знакомые Баху резная скамейка и земляничная прялка ютились у входа в комнатку, а по стенам, как праздничные украшения, красовались на медных гвоздях прочие инструменты: коклюшки для плетения кружев, связки вязальных спиц и крючков, бесчисленные щетки для шерсти, гребни и шпульки всех возможных размеров. Каждый раз, когда Бах заходил в Тильдину спальню, ему казалось, что комната стала еще на полвершка у?же, еще на ладонь короче.

Кларина девичья, наоборот, была светла и просторна – лишенное ярких цветов пространство было чисто и строго, как и его хозяйка: заправленная без единой морщинки кровать у одной стены, комод с бельем у другой, между ними соломенная циновка на полу – вот и вся обстановка. Сюда Бах поначалу робел заходить. Позже, уже освоившись и осмелев, разглядел на чисто ошкуренных бревенчатых стенах нечто, заставившее его встать на колени и полдня провести, ползая по комнате и водя носом по каждому бревну, от одного угла до другого. Все бревна были покрыты надписями – нежный ноготь Клары процарапал на потемневшей от времени древесине тысячи слов: среди них Бах нашел и стихотворные строки, и сложные слова из диктантов, и какие-то вопросы, что Клара писала ему в томике Гёте, и фразы из летних диалогов, и свое

собственное имя, повторенное добрую сотню раз. Слова и буквы покрывали все стены, от пола и почти до самого потолка. Ошибок было мало – скорее всего, Клара писала свой сумбурный “дневник” все прошедшее лето: бумаги на хуторе не водилось, а оставить ученице пару листов для самостоятельных упражнений Бах не догадывался. Потому и писала на стенах. Этот бледный узор был виден лишь при хорошем освещении и с очень близкого расстояния; вряд ли меланхоличная Тильда и вечно занятый Удо Гримм его замечали.

Сам Гримм жил за стенкой. Их с Кларой комнаты обогревались еще одной печью, которая топилась со стороны отцовской спальни. Там Бах старался бывать как можно реже – только чтобы бросить дрова в печь или взять что-то необходимое из громоздкого платяного шкафа. Тяжелая и темная обстановка хозяйской комнаты: черно-зеленые татарские ковры на стенах, кровать под гобеленовым балдахинном, массивный самовар красной меди на подоконнике – вызывала чувство странного стыда, словно это не ковры или самовар, а сам Удо Гримм смотрел на Баха с негодованием и укоризной. Потому спал Бах на лавке в гостиной, на ночь отгораживаясь для приличия знакомой ширмой.

Все в доме осталось таким же, как помнил Бах со времени своих летних визитов, разве что исчезли со стен витрина с хозяйскими трубками да пара фотографий в черных лакированных рамах. Дом глядел жилым, словно хозяева и не покидали его вовсе. Клара пояснила: ей и Тильде было разрешено взять с собой в дорогу только самые нужные и дорогие сердцу предметы, поэтому большая часть домашнего скарба, включая одежду, посуду и мебель, осталась в доме. Перед отъездом отец поручил хутор заботам одного саратовского дельца, который обязался навещать усадьбу и содержать в порядке до тех пор, пока Гримм не обустроится в Германии, а после – продать, со всей обстановкой, хозяйственным инструментом и прочим имуществом. Поначалу Бах с Кларой ждали того дельца со дня на день, однако известий от него почему-то не было. Прошла зима, затем весна, наступило лето – тот ни разу не приехал проведать вверенное ему хозяйство. Затем и ждать перестали. Не объявлялся и Удо Гримм в поисках заблудшей дочери. “Проклял, наверное”, – как-то заметила Клара.

Она, казалось, спокойно приняла возвращение на хутор – ее лицо сохранило то бесстрастное выражение, которое он заметил еще во время двухмесячного сидения в шульгаузе. Бах успокаивал себя: возможно, это было обычное ее выражение. Но чуткость и трепетность, которые так пленили его поначалу в ее голосе, уживались с решимостью характера и твердой волей: ни разу она не пожаловалась, не укорила ни в чем, хотя он был готов к упрекам, и ждал их, и

хотел бы даже просить прощения, целуя ей руки и виновато тычась лбом в полосатый фартук, доставшийся в наследство от старухи Тильды. Но Клара молчала. И только однажды обмолвилась: “Как жаль, что я не рассмотрела тогда все как следует: станцию, базар, чужих людей, мужика с рыжей бородой...” Больше об этом не вспоминала.

Да и говорили они теперь мало. Все, что не требовало слов, делалось молча: по взгляду или кивку головы. Стоило ли говорить, к примеру, что рыбалка сегодня была удачна и принесла двух увесистых язей, если язи эти – вот они, лежат в корзине, посверкивают чешуей? Или что надо собрать осыпавшиеся за ночь яблоки, пока их не сгрызли мыши, – если яблоки эти так ярко алеют сквозь траву, что от крыльца видать? Что подгнила крыша у амбара? Что прохудившиеся на коленях штаны Баха следует залатать? Что сам он выздоровел от недавней простуды? Что сегодня ему опять – как и вчера, и много дней назад – снилась Клара, в обычной своей самотканой шерстяной юбке и белом чепце, и он счастлив этим сном? Жизнь была – на ладони, на расстоянии протянутой руки или слышимого Кларинового голоса. Жизнь ясная, вещная, наполненная цветами и запахами. Словесная скупость, о которой Бах с Кларой негласно договорились между собой, делала эту жизнь ощутимей, а сами слова – весомей.

Странным образом слова даже слышались теперь по-другому. Стихи, которые Бах изредка читал вечерами, стоя рядом с Кларой на обрыве и глядя на бьющие далеко внизу волжские волны, звучали так ясно и мощно, словно он писал их черной тушью на пылающем закатном небе, словно вышивал золотом и драгоценными камнями по простому льну. Тексты же песенок и шванков, которые напевала Клара, все ее пословицы и поговорки, просторечные прибаутки и присказки, наоборот, были близки и родны хутору, как вездесущая трава или паутина, как запах воды и камней; они шли этой уединенной жизни и росли из нее, потому исправлять Кларину речь не хотелось. Бах по-прежнему любил слушать ее, но слушал теперь, не прерывая и даже научаясь находить в диалекте определенную красоту. Он просил Клару, как и раньше, рассказывать ему сказки – и она прилежно рассказывала, по первому, второму и десятому разу: про лесорубов и рыбаков, трубочистов и садовников, про золотые яблоки и серебряных говорящих рыб... Иногда казалось, что она рассказывает про хутор и про них самих.

А Бах был теперь и лесоруб, и рыбак, и трубочист, и садовник. Он выучился всему: рубить деревья, ловить в силки зайцев, варить смолу и заливать тем

варевом прохудившееся днище ялика, латать соломой крышу, мазать глиной щели в полу, чистить колодец, белить известью шершавые яблоневые стволы в начале года и кутать их ветошью и камышом в конце. Выучился всему, что было по-настоящему нужно для жизни. Чем-то овладел сам, многому научила Клара. Пусть руки его были неумелы, движения неловки, пальцы слабы, но каждое справленное дело приносило радость, словно был Бах не взрослым мужчиной, а ребенком, который впервые научался лепить из глины дома для игрушечных солдатиков или плести для них из соломы неприступные крепости. В начале было не слово, а дело – это он теперь знал наверное.

Засаленный пиджачок и прохудившиеся брюки, в которых Бах пришел на хутор, быстро поизносились от крестьянской работы. Клара ушила ему несколько одежек из бездонных Тильдиных сундуков: объемистые рубахи небелёного полотна с отложными воротниками и широкими рукавами, присборенными у запястья; широкие штаны без пуговиц, на завязках. Поверх Бах при любой погоде стал надевать меховую тужурку без рукавов, оставленную кем-то из киргизов, – в ней было тепло даже в самые сильные ветры; снимал ее только летом, на жаре. Эта разномастная, кое-как подогнанная под его хилый размер одежда нравилась Баху, в ней виделся глубокий скрытый смысл: теперь он сам был на хуторе и Удо Гримм, и Кайсар, и все прочие киргизы, вместе взятые. Он был и хозяин, и работник, и рыбак-добытчик. Охотником, правда, не стал, ружья в доме не оказалось, но оно и к лучшему – стрелять Бах вряд ли бы научился.

Руки его быстро огрубели, кисти чуть увеличились в размерах и потяжелели; стесняться обломанных ногтей и въевшейся в кожу земли быстро перестал. Зарос бородой, редкой и мягкой, как телячий хвост, – бритвы на хуторе не нашлось. Вероятно, борода не шла ему, но знать это наверняка не мог: отражение свое видел только в ведре с водой – зеркал на хуторе также не держали. Когда нестриженные волосы прикрыли уши и шею, стал перевязывать их на затылке веревкой, чтобы не мешали при работе, когда прикрыли плечи – собирать в косу, на киргизский манер.

Часов своих карманных лишился по неосторожности (во время рыбалки утопил в Волге), и потому время измерял теперь не минутами, а росой утренней и росой вечерней, ходом звезд по небу и фазами луны, выпавшим снегом, толщиной льда в реке, цветением яблонь и полетом птичьих стай по-над степью. Само время, казалось, текло на хуторе по-иному. Возможно, в других местах – где-нибудь в Петербурге или Саратове, да и в том же Гнадентале, – ход его был по-прежнему быстр и энергичен. Здесь же – в окружении столетних дубов, под сенью

неизменно плодоносных яблонь, в стенах добротного дома, не подверженного разрушительному воздействию ветров и дождей, – этот ход не замедлялся, но становился едва ощутим, почти исчезал – как исчезает даже быстрое течение в глубокой, схваченной ряской и тростниками заводи.

Просыпался Бах в один и тот же час – привычка подниматься незадолго до шести сохранилась. Открыв глаза, вспоминал иногда, что в эти мгновения бьет в Гнадентале пришкольный колокол; но мысль эта не вызывала в нем ничего, кроме легкого равнодушия. Ложился – когда ощущал усталость. Собственное тело стало для Баха часами – много лучшими, чем утерянная в волнах механическая луковица. Заметил, что спать стал крепче, а есть – быстрее и охотнее, иногда предпочитая ухватить аппетитный кусок пальцами, так вкусна вдруг стала еда. Верно, все дело было в том, что готовила ее Клара.

Клара была прекрасна – всегда, в любую погоду и любое время суток. С покрасневшим на морозе носом и заледенелыми ресницами. С шелушащимися от загара щеками. С обветренными по осени губами в обметке пузырчатой простуды. С горящим от болезни лбом. С растрескавшимися от работы пальцами и мозолями на ладонях. С первыми тонкими морщинками, едва заметно расколотившими ее нежное лицо. Прекрасна, прекрасна. Как шли ей старомодные Тильдины платья! Все эти бессчетные шерстяные юбки, синие, красные и черные, которые зимой полагалось надевать одна на другую; рубахи с нитками желтых бус на шее; лифы с зубцами на талии и блестящими пуговицами на шнуре; бумазейные фартуки – полосатые и крапчатые; кисейные – в крупный цветок... Она украшала собой любую одежду. Придавала смысл каждому действию. Встань она как-нибудь утром на голову – и Бах немедля встал бы рядом вверх тормашками и простоял бы так весь день, радуясь и не спрашивая зачем.

Клара вела их незамысловатое хозяйство спокойной и твердой рукой. Чистила и потрошила рыбу (для похлебки), собирала первую зелень (для чая), сушила почки и молодые побеги (для лечения простуд), ходила на дальние поляны за березовым соком (для придания сил по весне) и на ближние – за глиной для укрепления пола. Копала огород и каждое утро, стоя на грядках лицом к восходящему солнцу, молилась о хорошем урожае. Сразу после шла в сад и молилась повторно – о яблонях просила особо. Кормила Баха, лечила его, учила. Штопала одежду. Стала прясть и ткать: пока запасов одежды хватало, но следовало подумать о будущем. В амбаре нашли несколько тюков нечесаной шерсти, видимо, заготовленной на продажу, – и однажды холодным темным

вечером земляничная прялка вновь зажужжала, заплясали по гостиной хороводы огненных бликов. Работала Клара босой, как и положено истинной пряхе. Глядя на ее быструю ступню, жавшую на педаль, Баху хотелось лечь на земляной пол у подножия прялки и лежать так, не шевелясь, а только слушая и наблюдая.

Ему часто хотелось лечь у Клариных ног. О большем и не мечтал – и думать не смел, и стыдился, и гнал все мысли. А Клара вдруг пришла к нему сама, ночью – это случилось в первый год, ближе к весне. Могла бы просто позвать. Но она вышла из девичьей в гостиную, где спал на деревянной лавке Бах, нащупала в темноте его руку, уже заскорузлую от работы, и потянула за собой. Он спросонья не понял ничего, позволил отвести себя куда-то, уложить – и, только ощутив рядом с собой Кларино теплое тело, вдруг понял все, дернулся, как от ожога, вскочил, метнулся к окну. Скажи она хоть слово – он, верно, закричал бы в ответ, так звенело и дрожало у него все внутри. Но в комнате было тихо, сумрачно. Бах слышал только собственное громкое дыхание. И через некоторое время он вернулся в Кларину постель, лег под родную утиную перину... С того дня стали спать рядом.

Во время коротких ночных свиданий его не покидало ощущение, что Клара постоянно чего-то ждет; что широко распахнутые глаза ее смотрят не в бревенчатый потолок, а куда-то выше и насквозь – в будущее и видят там картины прекрасные и притягательные, недоступные Баху. Днем иногда замечал, как она, подрезая яблоневые ветви в саду или очищая картошины, вдруг замирала, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя, оставляла работу и уходила на берег, сидела там подолгу, глядя на реку; возвращалась румяная, с блестящими глазами. А когда затем наступали неизменные дни женской хвори – бледнела, глядела растерянно и грустно.

Баха страшила даже мысль о ребенке – своим приходом в мир он разрушил бы их спокойное существование, – но перечить Кларе не смел и старался дать ей, чего так ждала ее душа. Старался изо всех сил – и каждый раз, видя ее потухшие глаза во время очередного недомогания, понимал с тоской: зачатия не случилось – он не сумел подарить Кларе даже этой малости. Скоро стало очевидно: их с Кларой невенчаный союз бесплоден.

Часто спрашивал себя: что может он дать Кларе? Она дала ему все: отцовский хутор со справным домом и плодоносным садом, полный нужных для жизни вещей; так милое его сердцу уединение; умение работать и ощущать жизнь.

Наконец, Клара дала ему себя. Он же взамен дал так мало: ни радости иметь красивого и достойного мужа, ни приятного общества – в колонии, ни сильной руки – на хуторе. Все рассказанные им когда-то истории о благословенном Гнадентале и его чудесных обитателях обернулись если и не обманом, то просто пустыми сказками. Крючком, на который попалась бедная рыбка Клара. А он сам? Неужели и он был всего лишь крючком, жадно заглоченным в приступе голода? Мучился виной. Отчаянно старался найти, что дать Кларе, – пусть невеликое, даже мизерное – и не находил.

Он мог бы отдать Кларе последнее яблоко в голодное время – но еды на хуторе доставало. Мог бы укутать ее последней теплой вещью в зимний холод – но сундуки в доме были полны одеждой и бельем. Мог бы работать для нее – и работал – не покладая рук, с последней утренней звезды и до первой вечерней; но она работала наравне, зачастую больше и проворнее него. Бах не мог дать Кларе ничего из того малого, что имел, умел или знал. Единственным – и весьма невеликим – даром был он сам: хлипкое тело и душа, полная невысказанного обожания и собачьей верности.

Защитить Клару, спасти от опасности – вот чего Баху хотелось бы по-настоящему. Но медведи и волки из лесу не выходили, а злыязыкие люди остались на другом берегу Волги. На всякий случай Бах каждый вечер плотно закрывал ставни и запирали двери, прислонял у входа большие вилы. Клара смотрела на его приготовления печальными глазами. В глубине души Бах догадывался: ей требовалось иное – не закрываться и обороняться от мира, а влиться в него; освятить в церкви их союз, помириться с общиной, выезжать в Гнаденталь на воскресную службу, а затем, глядишь, и в Покровск – на пасхальную ярмарку. Но преодолеть себя и оставить на ночь открытым хоть одно окно – не мог: боялся.

Страх потерять любимую женщину поселился в нем давно. Бах даже не мог бы вспомнить, когда этот страх впервые обнаружился в его организме. Но каждый раз, в красках представляя себе исчезновение Клары, Бах чувствовал, как мышцы его схватывает озноб: мускулы и сочленения словно медленно покрывались инеем, немея и теряя чувствительность. Из всех ощущений оставалось одно-единственное – холод. Этот холод пробирал щуплое тельце Баха и заставлял трястись – в меховой душегрейке или под жаркой периной, – обтекая потом и покрываясь мурашками. Этот холод накатывал неожиданно, в самые разные моменты: во время посадки яблоневых саженцев или сколачивания расшатавшихся досок ограды, во время выживания сазанов из

Волги или опрыскивания соломенной крыши солью. Бах бросал все: саженцы, сазанов, соль – и бежал искать Клару. Запыхавшийся, с мокрым лицом, находил ее; стоял рядом и смотрел, не в силах вымолвить ни слова. Она не ругалась – просто улыбалась в ответ. Не будь этой спокойной и мудрой улыбки, сердце Баха давно поизносилось бы в страхе, как изнашивается от долгой носки даже самый крепкий башмак.

* * *

Однажды ночью подумалось: стал как жадный гном, трясущийся над золотом. Как Удо Гримм, пытавшийся отгородить дочь ширмой от всего света. Из-за мысли этой долго не мог заснуть. А когда Кларино легкое дыхание на соседней подушке стало медленным и глубоким, выскользнул из-под перины, взял в охапку одежду и вышел в ясную морозную ночь. Решил сходить в Гнаденталь – один, без твердой цели или намерения. Минул год их уединенной жизни на хуторе – пришла пора осторожно выползти в мир и попробовать его на ощупь: изменилось ли в нем что-то? Можно ли вывести туда Клару – хотя бы на один день?

Перебирался через Волгу долго, при свете белого месяца и белых же звезд, – показалось, что река стала шире, хотя быть этого, конечно, не могло. Заметил, что санный путь, который прокладывали обычно зимой по волжскому льду, в этом году хорошо наезженный, твердый – немало повозок прошло по нему в обе стороны, вверх и вниз по реке.

Снегоступы шагали по сугробам будто сами по себе, а Бах не отрываясь глядел на приближающийся Гнаденталь. Колония простиралась перед ним вся, от первого дома на окраине и до последнего, подвешенная к небу за черный шпиль колокольни. Дома были темны – спали. Спали и хлева, и сады; и только голубые свечи дыма из труб едва заметно изгибались и клонились куда-то вправо, словно искаженные отражения в кривом зеркале. Сонная картина эта была знакома, привычна – кроме того, что дымных столбов стало меньше обычного: топились отчего-то не все дома. Бах снял снегоступы, спрятал их в сугробе у пристани и вошел в спящее село.

Все здесь было, как помнил с юности: деревянные заборы ровны, беленые фасады чисты, наличники и двери нарядны. Лишь большой дом на главной улице – “дворец” мукомола Вагнера из крашеного саратовского кирпича (не

дешевого саманного, а дорогого фабричного) под диковинной черепичной крышей – глядел странно: все стекла в окнах были выбиты, черными звездами зияли дыры. Бах подошел ближе. Забор палисадника исчез, кусты черноплодной рябины вытоптаны. Оборванные веревки плюща болтаются на стене запутанными концами. Чугунные перила крыльца покрыты слоем чего-то серого: показалось – плесень, оказалось – иней. В приоткрытую дверь уже надуло большой сугроб.

Хрустя рассыпанным по полу стеклом, Бах пошел по пустому дому. Он бывал здесь не раз и хорошо помнил обстановку, от которой теперь почти ничего не осталось: голые стены топорщились задубелыми обоями (ни в одном другом гнадентальском доме обоев не было, и селяне любили приходить к Вагнеру любоваться “настенными картинами”), половицы выдраны, ковры и мебель исчезли. Распахнула щербатую пасть большая фисгармония, поставленная каким-то шутником на попу. Под ногами вперемешку с осколками валяются фотографии, черепки посуды, птичьи перья и обломки гипсовых фигур, к которым хозяин питал особое пристрастие. Бах поднял один снимок, отряхнул пальцами ломкий лед – узнал на портрете вагнеровскую мать. Разглядел в куче хлама цельную гипсовую руку – изящную женскую кисть с кокетливо отведенным мизинцем, размером с обычную человеческую, – подобрал и положил на подоконник. Заглянул в несколько печей, крытых синей свияжской плиткой: устья обметаны густым инеем.

Вышел во двор. Все двери в хозяйственных постройках – настезь. Вынесено все до последнего гвоздя: плуги, упряжи, клейма для скота, скребки, серпы, коромысла, рубели, фонари, терки и котлы для арбузного меда, маслобойки, меленки, мясорубки. Деревья в саду поломаны, а каменная печка летней кухни раскурочена, словно здесь бушевал какой-то злобный исполин...

Еще пять разоренных домов насчитал Бах той ночью в Гнадентале – каждый стоял пустой и тихий, крытый инеем и скованный льдом. Бесшумной тенью скользил по ним Бах, разглядывая в белом свете луны мертвые покои. Чья злая воля опустошила их, оставив хозяев без крова? Настигла ли преступников кара? Куда делись хозяева? Вынесенное добро и уведенный скот? Да и что это был за жестокий год, в который маленькая заволжская колония разом лишилась самых добрых и зажиточных своих дворов?

Год Разоренных Домов назвал его про себя Бах, торопясь вернуться к рассвету на хутор. Кларе ничего не сказал – не хотел тревожить. Дела в миру творились

странные – выходить было опасно.

* * *

Как же бесконечно прав он оказался! Не прошло и полугода – едва степь на левобережье окрасилась в жаркий тюльпанов и маков цвет, а прозрачное весеннее небо распахнулось ввысь, до самых дальних планет и звезд, – как эту самую степь расчертили бесконечные потоки чужих людей, а небо – вереницы железных птиц. Иногда людские потоки скрещивались, клубились в местах пересечения белым дымом и красной пылью; затем вновь расходились, оставляя за собой на вытоптанной земле россыпь людских и конских тел, пожженных телег и орудий. Звуков слышно не было, только аханье взрывов долетало до правого берега – много позже того, как пороховые облачка поднимались ввысь и мешались с небесными. Самолеты то опускались низко, едва не бороня пашни пузатыми брюхами, то поднимались выше орлов и беркутов; изредка, заваливаясь на одно крыло и низко крича механическими голосами, падали куда-то за горизонт...

Осенью, когда степь выцвела и поседела от солнца и распахавших ее взрывов, а леса на правом берегу вспыхнули рыжим и багряным, по Волге потянулись эскадры. Катера и канонерки, оцетинившись дулами орудий, устало тащились по реке косяками угрюмых железных рыб. Некоторые были ранены – с распоротыми бочинами и перебитыми хребтами. Одну долго латали, пришвартовав у гнадентальской пристани. Другая затонула прямо напротив Гнаденталя, быстро и беззвучно погрузившись в воду всем своим шипастым телом.

Бах с Кларой наблюдали эти картины с обрыва. Понять ничего не могли. Возможно, это была война. Возможно, гнадентальцы успели спасти хоть малую часть посеянного хлеба. А возможно, и нет – если всех мужчин забрали воевать, как забирали до этого в Галицию и Польшу, где Российская империя вот уже несколько лет воевала с Германской. Возможно, та далекая война перехлестнула через границу, прокатилась по южным степям и калмыцким равнинам, добралась до сонного Поволжья... Любое из предположений – страшило. Клара стала подолгу молиться: чтобы их хутор, спрятанный от людских глаз на лесистой вершине, оставался бы незамечен. Она вдруг поверила, что Бог до сих пор не дал им ребенка, чтобы оградить его от ужаса войны, а после ее окончания зачатие непременно случится. Бах не разубеждал.

Война длилась больше года. Бах назвал его про себя Годом Безумия: в беззвучных картинах гибели многих людей и машин было, несомненно, что-то дикое, за гранью понимания.

* * *

В конце следующей осени людские потоки оскудели, затем иссякли. Лед на реке встал в ноябре, не потревоженный твердыми телами военных кораблей: железные рыбы и птицы не то перебили и пожрали друг друга, не то отправились по домам. И заснеженная Волга, и небо над ней стояли чистые, тихие. И Рождество нынче выдалось тихое: не мчались по льду нарядные тройки, полные хмельных и веселых парней; не тянулись чинные обозы с колонистами, выехавшими в соседнее село проведать родню. В одну из таких безмолвных ночей Бах вновь решил навеститься в Гнаденталь. Идти не хотелось, но заставил себя – ради Клары, которая к тому времени так похудела и побледнела в беспрестанных молитвах о зачатии, что напоминала Ледяную деву, а не юную женщину. Быть может, яростный мир успокоился немного и готов дать Кларе то, что она заслужила – венчанный брак и радость бывать на людях? Быть может, выход в Гнаденталь отвлечет ее от мыслей о ребенке?

То ли выпавший снег был вязок и обилен, то ли тело Баха ослабело – он шел через реку еще дальше, чем в прошлый раз. Луна была бледна и мутна, как обломок жженого сахара, небо – темно и беззвездно. Домишки Гнаденталья бугорками кофейной гущи лепились на горизонте. И вновь показалось, что дымных столбов, тянущихся от крыш ввысь, убыло.

Сами дома подурнели, глядели неряшливо: тут створка ворот покосилась, там наличники с окна содраны, здесь кладка у кирпичного забора выщерблена; выбитое окно заколочено досками и законопачено тряпьем – бельмом торчит на фасаде; разбит и сам фасад – побелка в сети трещин, вываливается кусками. Глаза Баха, давно привыкшие на хуторе к скупому свету лучины и свечи, видели зорко – приглядевшись, он различил приметы не времени, но прокатившейся здесь войны: окна, и стены, и заборы были разбиты пулями и снарядами.

Разоренных домов не стало больше, зато появились покинутые: с наглухо заколоченными дверями и ставнями, запертыми накрепко воротами и подушками снега на скатах крыш и фундаменте. “Дворец” Вагнера изветшал вконец, превратился в кирпичный скелет – без окон, дверей и черепицы на

крыше. Только чугунные цветы, обвивающие крыльцо, еще напоминали о былом великолепии.

Бах шагал по главной улице Гнаденталя, удивляясь, как широка и тверда она была этой зимой – словно ходили здесь и ездили на санях не пара сотен колонистов, а тысячи людей и скота. Уже выходя на рыночную площадь, заметил, что дорога стала грязной – лед под ногами потемнел.

Огляделся. Низенькие деревянные столы, за которыми летом продавали всякую снедь гнадентальские хозяйки, а зимой играла детвора, исчезли. Между тремя могучими карагачами, занимающими центр площади, были проложены на высоте поднятой руки толстые длинные брусья, образуя подобие огромного треугольника. По всей длине в брусья были вбиты железные крючья, на некоторых до сих пор болтались обрывки заледенелых веревок. Виселица?

Снег под брусьями был черный, словно кто-то ведрами разливал здесь чернила. Несколько тяжелых колод, изрубленных по верху и залитых все тем же черным льдом, валялось неподалеку. В стволе одного из карагачей торчал позабытый кем-то большой нож. Кое-где на снегу – бурые кляксы коровьих лепех. Нет, не виселица – скотобойня.

Бах медленно пошел по площади, пытаюсь воссоздать картину. Видимо, сначала скот вели к колодцу и обливали водой, очищая шкуры от грязи: колодезный сруб оброс льдом, как пень – муравейником; сам лед – истоптанный сотнями копыт.

Затем подводили к деревьям и убивали выстрелом в ухо – вмерзли в снег почернелые гильзы. Странно, что тратили патроны. Обычно удара в лоб кувалдой хватало, чтобы оглушить даже быка; за следующие несколько секунд опытный убийщик успевал нащупать на шее артерию и перерезать ее. Возможно, поначалу так и делали, а потом что-то случилось: убийщик отказался работать (устал?) или скот разволновался, и подходить к быкам стало опасно. Или – умелые убийщики и вовсе не захотели участвовать в затее, и потому пришлось убивать скот, как противника на войне, пулей в голову?

После отстрела животным вскрывали горло и подвешивали меж карагачей, на брусья – для спуска крови. Почему не подставляли под туши лохани или ведра, чтобы позже изготовить кровяную колбасу? Или – подставляли, но не хватало тары, и потому лили прямо на снег? Или – торопились так, что не до

колбасы было? Бах наклонился и выломал из-под ног кусок льда – черно-бурого, с яркими багровыми искрами на изломе. Странная бойня случилась совсем недавно: площадь еще не успело запорошить снегом.

Дальше обескровленные туши спускали на землю и снимали шкуры – вот здесь, на наспех сколоченных распорках. Тут же вынимали внутренности. Разделявали на колодах. Вряд ли освежеванные туши подвешивали повторно для просушки; по всему видно – торопились, работали кое-как: вокруг валялись ошметки потрохов, обломки копыт, смерзшиеся комья хвостов, выбитые коровьи зубы. Бах подобрал один – желтый и крепкий, мало стесанный поверху, – от молодой телки или годовалого бычка.

Куски разделанного мяса кидали на сани и увозили к волжскому тракту: санная колея была широка и наезжена, лед на ней застыл камнем и был густо испещрен кровяными потеками – говядину увозили еще парной, в дороге она наверняка смерзалась в глыбы. По тракту могли уйти налево – на Цуг, Базель и Гларус или, что вероятнее, направо – к Покровску, от которого и до Саратова рукой подать. На обочине Бах заметил несколько мелких трупов – собаки, видно, хотели полакомиться потрохами, да были пристрелены.

Вопросы роились в голове. Бах силился найти хоть одно разумное объяснение, но не умел: каждое предположение рождало следующие вопросы, которые влекли за собой новые догадки, всё более фантастические и невероятные.

Сколько здесь было забито коров – несколько сотен? Тысяча? В Гнадентале такого большого стада не было никогда. Значит, приводили из соседних колоний, и много приводили.

Кому потребовалось такое невероятное количество мяса? Какому ненасытному великану? И успеет ли он заглотить все заготовленное до наступления весеннего тепла?

Какое самоубийственное безрассудство овладело колонистами, если они решились разом продать кому-то чуть не весь свой крупный скот? Или то было сделано не по доброй воле, а по принуждению? Кто же мог заставить крестьянина добровольно отвести любимого вола или корову на такую жестокую смерть?

Почему решили забивать скот именно в Гнадентале? Возможно, дальше идти коровы уже не могли – были истощены. Или – их нечем было кормить в пути. Откуда же, с каких дальних краев их гнали? И какие варвары вывели стада на перегон по морозу, снегу и льду – зимой, когда большинство коров стельные? Да еще без запаса фуража?

Ответов не было.

Между карагачами, в центре образованного ими треугольника, высилась какая-то темная глыба. Издали показалось: мерзлые потроха. Подошел поближе, присел на корточки – и тут же дернулся, упал, пополз на коленях прочь. Кислая дурнота вздрогнула в желудке, подкатила к зубам и выплеснулась на снег.

Нерожденные телята. Во время забоя их доставали из материнского чрева и швыряли в отдельную кучу – видимо, не могли решить, отнести ли их к полезному мясу и погрузить на сани или к ненужным потрохам. Решить не успели: телята быстро срослись на морозе в огромный ком уродливых лобастых голов с зачатками ушей, голенастых ног с растопыренными копытцами, тонких ребер под розовой кожей в синих разводах вен, больших темных глаз и почти человеческих губ. Такую глыбу ломом бей – не разобьешь. Так и оставили на снегу – весной оттают.

Бах поднялся с колен и торопливо зашагал прочь – с площади, с улицы, из Гнаденталея. Нет, в этот мир вести Клару было нельзя. И самому здесь показываться также не стоило. А минувший год Бах так и назвал про себя – Годом Нерожденных Телят.

Он видел тех телят еще раз: весной, во время паводка, заметил вынесенные волной на камни останки, с короткими ножками и мелкими лепестками ушей на огромных головах. С противоположного берега их принести не могло – вероятно, тельцаплыли из соседней колонии, выше по течению: когда пришло тепло, мучиться с закапыванием в землю мерзлых потрохов не стали, а попросту спустили в реку. На следующий день Бах хотел было сбросить их обратно в воду, но, придя на берег, уже не нашел: ночью телят забрала Волга.

* * *

Целый год в мир не выходил – незачем. Иногда вечерами стоял на обрыве и смотрел на Гнаденталь. Дымовых столбов над крышами не видел: то ли зрение с годами стало хуже, то ли их и вправду не было. Клара ходить на берег перестала. И надеяться зачать – тоже перестала. Бах рассказал ей о своих ночных вылазках – она выслушала, вздохнула еле слышно; с тех пор и молиться подолгу – перестала тоже.

Она за последние годы словно стала ниже ростом и меньше телом – истаяла. Запястья ее стали тонки – казались ветками, а пальцы – и вовсе ковыльными стеблями. Сзади ее можно было принять за подростка. Бах удивлялся, как столь хрупкая оболочка могла вмещать такое крепкое содержимое: неутомимое трудолюбие, каменное спокойствие, мужество принять собственную бесплодность. Единственный раз Бах видел – подсмотрел случайно, – как обычно невозмутимая Клара перестала владеть собой. Она подрезала тогда ветви яблонь в саду. Вернувшись раньше времени с берега, Бах шел к ней меж деревьев не таясь, но сильный ветер шумел ветвями – Клара не слышала чужих шагов. Только что работала ножницами, аккуратно и споро, – вдруг уронила их на землю, оперлась рукой о ствол, постояла так с полминуты и сжатой в кулак другой рукой начала бить себя в живот. Лицо ее при этом оставалось безучастным и неподвижным, только глаза прикрыла – не то от боли, не то от стыда. Била долго, яростно. Все это время Бах стоял растерянный, ошеломленный, спрятавшись за деревьями, не зная, бежать ли к ней или от нее. Потом разжала кулак, подняла ножницы и стала работать дальше. А он ушел из сада, так и не обнаружив себя. Больше такого за ней не замечал. Но наступившим летом впервые увидел, как Клара, срывая с ветки особо крупное яблоко, украдкой оглаживает его перед тем, как положить в корзину, – словно это не плод, а мягкая детская головка.

Следующей зимой ни одни сани не проехали по волжскому льду: река стояла пустая, белая, расчерченная лишь зигзагами волчьих следов. Сверху висел белый же покров неба. Иногда в этой бесконечной белизне вдруг появлялась темная точка или две – путники: они возникали ниоткуда и тянулись по Волге, медленно и потерянно, словно не имея конечной цели; пути двух идущих навстречу могли сблизиться, но никогда не пересекались – люди будто не видели друг друга и слепо плелись мимо.

Обычно зимой колонисты предпочитали сидеть по домам, а уж если и выбираться куда, то верхом или в повозке; теперь же и дня не проходило, чтобы Бах не замечал на бескрайнем полотне реки пешего странника. Поначалу не мог

понять, какая сила выгоняет несчастных из теплых домов и гонит куда-то, едва одетых, по сугробам за многие версты. Затем понял: людей гнал голод. Некоторые были так истощены, что руки и ноги их, торчащие из прикрывающих тело лохмотьев, походили на палки, а лица – на скорбные маски. Некоторые были безумны. Некоторые, проходя мимо Гнаденталя, падали в снег и не поднимались больше. Если Бах замечал таких, то надевал снегоступы, брал сани, топор и брел через реку. За пару часов добредал. К тому времени несчастный был уже мертв. Бах клал его на сани, впрягался и тащил к ближайшей проруби. Разрубал топором наросший лед, бормотал короткую молитву и спускал успевшее закоченеть тело в Волгу. Сначала сомневался, стоит ли ему, человеку без искренней веры в сердце, читать молитву над усопшими. Решил, что стоит: сами они, верно, были бы рады молитве из любых уст. Сомневался еще и потому, что определить вероисповедание умершего было невозможно. Решил, что лютеранская молитва, прочитанная над католиком, православным или магометанином, все же лучше, чем никакая. И потому читал над всеми, даже над татарами и киргизами. Накормить голодных он не мог, а похоронить, чтобы тело не пожрали волки, – мог. Сколько схоронил – не считал. Страшный год этот назвал Годом Голодных.

Думал, что не может быть ничего страшнее. Оказалось, может: через год взрослые путники пропали – по волжскому льду потянулись дети. Маленькие старческие лица; угрюмые звериные глаза; черные от цинги зубы; затылки – шелудивые собачьи шкурки; руки – костлявые птичьи лапки. За один день Бах похоронил трех таких. Решил, что больше на берег не пойдет, – наблюдать с обрыва Год Мертвых Детей сил не было. Пришел домой, лег под утиную перину, закрыл глаза и стал ждать весны.

6

Грохот – сильный и резкий, как удар грома.

Бах отбросил перину, сел в постели. Гроза – в начале апреля, когда снега еще не сошли с полей? Встряхнул головой, огляделся. Вокруг – холодный утренний мрак. В щели закрытых ставней пробивается скупая рассветная дымка. Показалось? Рядом зашевелилась сонная Клара.

Повторный грохот. Вернее, стук – требовательный и долгий – во входную дверь и в окна кухни. Стучали так сильно, что было отчетливо слышно даже в спальне.

Вскочила и Клара, ахнула еле слышно. Бах нащупал в темноте ее руку, сжал: молчи! Может, потрутся незваные гости у дверей, да и пройдут мимо. Хотя на счастливый исход надежды было мало.

Снаружи раздался глухой удар, затем звон стекла – кто-то скovyрнул запор со ставни и разбил окно. Умело разбил, твердой привычной рукой.

– Эй, хозяйева дома есть? – Голос – дерзкий, с наглeцой; говорит по-русски, но не спокойно и плавно, как в соседних деревнях, а быстро, словно торопясь.

– Где ж им быть... Вон дым какой щедрый из трубы валит, – второй голос, властный и тихий.

Дверь спальни была приоткрыта – Бах ясно слышал каждую фразу. Известных ему русских слов едва хватало, чтобы понять все, однако опасность обострила восприятие: он схватывал и осознавал главное – скрытую в речи угрозу.

Хрястнула от удара оконная рама, зазвенели, осыпаясь, осколки, захрустели под тяжестью немалого тела – кто-то лез в окно, большой и увесистый; резался о стекло и бормотал вполголоса ругательства, которых Бах не понимал, но о смысле которых догадывался.

Стараясь двигаться бесшумно, Бах сполз на пол, встал на колени и потянул за собой оцепеневшую Клару. Когда она очутилась рядом – дышит часто и прерывисто, сквозь зубы, словно продрогнув на морозе, – пригнул ее голову к земляному полу, толкнул в спину: скорей, под кровать! Она поняла – юркнула в пыльную щель, втянула за собой края ночной рубахи. Бах на ощупь стянул со спинки кровати остальную одежду и сунул вслед. Клара затаилась – не стало слышно даже дыхания.

А тот, на кухне, владелец дерзкого голоса и увесистого тела, уже спрыгнул на пол – захрупало стекло под сапогами, – отодвинул засов и распахнул входную дверь:

– Entrez, господа! Или кто вы там теперь по-новому будете...

– Не гарбузи, дура! – Тихий властный голос – уже в доме. – Сейчас тебе хозяин организует это самое “антрэ” – промеж глаз из двух стволов...

Что делать, Бах не знал. Все, чем можно было защищаться, – ножи, молотки, сковороды и прочая утварь – находилось на кухне. Вилы, которые он каждый вечер прислонял к дверному косяку, – там же. Серпы, лопаты, сечки – в сарае. Ружья в хозяйстве не было. А в спальне – так вообще ничего не было, кроме кровати, бельевого комода и пары стульев. На цыпочках Бах шмыгнул к окну и нащупал у стены небольшую скамеечку – когда-то на ней любила сидеть за прялкой Тильда, а теперь вечерам присаживалась Клара, чтобы распустить шнурки на ботинках. Он ухватил скамейку за резные ножки, приподнял над головой и замер у двери: самого первого, дерзкого, он оглушит ударом. Постарается попасть в темя. Как говаривал свинокол Гауф, “шибай быка и хряка в лоб, а человечка – по темечку”. Если повезет – свалит с ног. А дальше?

– Вдруг здесь и не хозяин вовсе, а хозяйка? Какая-нибудь прекрасная мельничиха? – Дерзкий голос быстро перемещался по гостиной, от стены к стене. Хлопнула печная заслонка, щель под дверью засветилась нежно-желтым – видимо, в комнате зажгли свечу. – А, господа?! Чепчик тонкого кружева. Ноготочки чистые, розовые, так и светятся. Ямочки на щеках. А сама пахнет... водой лавандовой из лавки Контурина, по рупь двадцать флакон...

– Тьфу, паскудство какое, аж зубы свело! – опять властный голос. – Дом иди проверь, трещотка. И как тебя только твой полковник терпел... А ты что застыл, малёк? Рундуки, подпол, чердак – облазить. Искать – еду, спички, оружие. Ну!

Значит, есть еще и третий. Сколько же их нагрянуло, незваных гостей?

Дверь распахнулась внезапно – пнули сапогом. Показалось, кто-то сильно ударил в лицо – но это был всего лишь неяркий свет. Бах не успел ничего сделать, даже вдохнуть не успел, – так и застыл, не дыша и держа в вытянутых руках скамейку.

Из гостиной на Баха смотрел человек – густо, по самые скулы, обросший щетиной, в грязной шинели, давно потерявшей и цвет, и погоны, и прочие знаки различия. Глаза – шалые, со злым прищуром – нагло глядели из-под драной меховой шапки. Тот самый – дерзкий, понял Бах. В одной руке тот держал горящую свечу, в другой – револьвер.

* * *

“Опусти скамейку”, – показал стволом. Бах медленно помотал головой: не опушу. Но руки его, дрожавшие от напряжения, словно держал на весу целый стол или комод, внезапно так ослабели, что сами согнулись в локтях и поставили скамейку на пол – аккуратно к стенке, где она до этого и стояла. Человек одобрительно кивнул.

“Садись теперь на нее”, – вновь показал стволом. Бах хотел остаться стоять, уперся босыми пятками в пол, но ноги его словно подкосились от неторопливых движений черного револьверного дула, затряслись мелко и противно – и через мгновение опустили застывшее тело на скамейку. Вдруг понял, что озяб, словно сидел не в теплой комнате, а где-нибудь на волжском обрыве. Обхватил себя руками, чтобы унять дрожь.

– Знакомьтесь, господа! – закричал дерзкий, по-прежнему держа Баха на прицеле. – Наш гостеприимный хозяин! С виду несколько диковат, но в обхождении приятен!

Их было всего трое – незваных гостей. Кроме дерзкого, еще крепкий мужик: широкое калмыцкое лицо в окладистой бороде, узкие глаза прячутся под набрякшими веками, неожиданно короткий нос придает облику что-то животное, не то от летучей мыши, не то от дикой кошки. И мальчишка лет четырнадцати, лобастый, светлоглазый, кадыкастая шея торчком из большой, не по размеру фуфайки. Сгрудились вокруг Баха, таращатся. В руках у мужика Бах заметил свои вилы, а за спиной – ружье.

– Немчуря, – уверенно произнес мужик, рассмотрев Баха. – У этого непременно должно быть что в доме припрятано. Немцы – народ запасливый.

– Так и погостить бы у него пару деньков, – дерзкий мечтательно оглядел спальню, ковырнул стволом револьвера свесившуюся на пол утиную перину. – Отоспаться, отожраться на германском-то харче. Не все ж по лесу волками шастать.

– Погости, – легко согласился мужик. – А комиссар красный тебя разбудит, когда ты после этого самого харча на пуховой постели дрыхнуть будешь и вшей на

пузе чесать. Мы с мальцом к тому времени уже за Вольск уйдем.

Откинув голову к стене, Бах чуть скосил глаза: не выглядывает ли из-под кровати конец Кларинной ночной рубахи? Нет, не выглядывает: щель под кроватью совершенно черна. Торопливо отвел взгляд, чтобы гости не заметили, уткнул в потолок.

– Кому сказано – облазить дом! – Мужик зыркнул на пацана, и тот, шаркая башмачищами и снимая на ходу с плеч объемистую холщовую котомку, кинулся обратно на кухню. – Ты хозяина покарауль, – приказал дерзкому. – А я по двору пройду, гляну хваленое немецкое хозяйство. – И вышел вон, опираясь на вилы, как на посох.

– Дал бог сотоварищей, – забурчал дерзкий тихо, себе под нос. – То ли порешить, а то ли дальше дружить...

Где-то на кухне гроыхала посуда, звенело стекло, звякали крышки кастрюль – мальчишка прилежно шарил по кухне.

Дерзкий, не отводя от Баха ствол револьвера, поставил свечу на комод, сам сел на кровать. Посидел немного, с наслаждением оглаживая грязной рукой мягкие простыни.

– Смотри у меня! – предупредил, погрозив револьвером, как грозят пальцем малым детям, а затем с долгим протяжным стоном рухнул на спину, в мягкое облако подушек и простынь.

Дуло револьвера глянуло из вороха ткани и перинных складок – дерзкий наставил оружие на Баха да так и лежал, глядя на него осовелыми глазами.

Бах сидел на скамейке, по-прежнему обнимая себя. Дрожь в теле не прошла: трясло не только руки и ноги, а все внутри – и ребра, и живот, и сердце, и остальные потроха колотились мелко, каждый орган по отдельности, как терновые косточки в детской погремушке. Скоро гости уйдут. Еду – заберут. Мешок с горохом, вяленых окуней, морковную муку, сушеные яблоки... Пусть. Спичек в доме не водится уже который год. Оружия нет. Кроме еды ничего не найдут. А заберут еду – и уйдут. Уйдут. Уйдут.

– Да, спать вы умеете, – дерзкий с сожалением поднялся с кровати – на развороченном белье остался вмятый след.

Подошел к комоду, равнодушно глянул на украшавшую его нитяную накидку, поверх которой вот уже семь лет лежал томик Гёте. Вытянул верхний ящик: мужские рубахи, полосатые шерстяные носки, вязанные перчатки в мелкий узор. Примерил перчатки – оказались малы. Пошарил для порядка по дну – нашел только пару костяных пуговиц.

Бах смотрел на ленивые, скучающие движения дерзкого и никак не мог вспомнить, на которой из полок лежит одежда Клары. Вспомнить мешал озноб – тело колотило так, что боялся упасть со скамейки.

Дерзкий вытянул второй ящик: ровные стопки простынь и наволочек в тонких полосках вышитой тесьмы; пара лоскутных покрывал; клетчатая скатерть. И здесь – ничего.

Взялся было за ручку третьего, но в этот миг Бах рухнул со скамейки на пол и на корточках метнулся из спальни прочь.

– Шкет! – заорал дерзкий, устремляясь следом. – Держи его!

Никакого плана у Баха не было – просто хотел вывести чужих из дома. На ходу вскочил на ноги, рванулся было к двери, но в колени ему уже кинулось что-то костлявое и юркое – мальчишка. Упали вместе, закрутились клубком. Сверху бухнулось тяжелое тело дерзкого.

Что-то вцеплялось в Баха, ударяло его, вертело и тащило. Он отбивался, рвался к двери, брыкался. Чувствовал чужое влажное дыхание – со всех сторон. Озноб сменился горячкой – мгновенно, словно бросили в пылающую печь. Стало жарко хребту и шее, лицо замокрело от пота. Ударился лбом о стену, плечом – о ножку стола. Задребезжала посуда, звякнули упавшие половники. Хрустнуло стекло разбитого окна – в спину впились несколько осколков. И тотчас кто-то зашипел от боли, совсем рядом, – хватка вокруг Баха ослабла, и он пополз к двери, ладонями по стеклянному крошеву. Толкнул дверь лбом, обернулся на тех двоих: ползут ли вслед? Хотел перевалить через порог – и ткнулся головой в чьи-то крепкие грязные сапоги.

Поднял глаза: мужик с калмыцким лицом – обошел двор и возвращается в избу. Видно, так и ходил по хутору с вилами наперевес. Этими же вилами подтолкнул Баха легонько в спину: ползи обратно в дом. Бах заполз, ощущая, как горят оцарапанные в кровь ладони. Дерзкий, видимо, также порезался – нетерпеливо тряс в воздухе рукой, гримасничал.

– Не поладили? – усмехнулся мужик, придерживая Баха вилами на полу, словно пойманную щуку острой. – А как же погостить? Похарчеваться?

Не отвечая, дерзкий только глянул зло и ушел в спальню. Загремел там ящиками комода – видно, искал, чем перевязать руку.

– После похарчуемся, – мальчишка гордо раскрыл котомку, доверху набитую найденной в доме снедью.

Мужик одобрительно кивнул.

Внезапно в спальне стало тихо, а пару мгновений спустя раздался хохот – громкий, на весь дом. Дерзкий возник в проеме двери, красный от смеха, держа в перевязанной кое-как руке маленький белый предмет – женский чепчик.

– Прекрасная мельничиха, господа! – объявил громко.

Бах задергался, но четыре стальных острия крепко прижимали его к полу.

– Не до гнусностей, светает уже, – мужик так сильно вдавил зубцы в спину Баха, что дышать стало невозможно. – Кто знает, какие на этом хуторе гости днем объявятся могут. Вяжем хозяина, чтобы раньше времени о нас не растрепал, и рвем отсюда. Давай, малёк, ищи веревку!

Пацан зашнырял по кухне и гостиной; не найдя веревки, принялся рвать на лоскуты простыню.

– А если она растреплет? – Дерзкий не отрываясь рассматривал чепчик со всех сторон, словно ничего интереснее не видывал, и даже вывернул его наизнанку. – Едва мы за порог, а она в село ближайшее резвыми ножками – топ-топ-топ? И про нас там алыми губками – шу-шу-шу?

Мужик вздохнул тяжело и длинно. Помолчал.

- Ладно, ищи свою бабу, только поскорей.

- Что ее искать-то? - Дерзкий подкинул чепчик в воздух и поймал зубами, как дрессированный щенок; порычал, дурачась, потряс головой, затем выплюнул чепчик на пол. - В спальне она, под кроватью. Недаром нас хозяин оттуда увести хотел.

Бах что есть силы вдавил лицо в пол, ощущая, как в лоб впивается злая стеклянная пыль, а глаза застит чем-то густым и черным. По телу, от живота к горлу, пошли горячие волны; замычал, извиваясь, позабыв про воткнутые в спину вилы. Но сверху уже навалилась тяжеленная туша, раскатывая его по полу, как тесто, выдавливая из легких воздух: мужик оседлал Баха, пацан засновал вокруг, связывая за спиной руки и ноги. За возней не слышал происходящего в спальне. Ему заломили руки - так сильно, что свело лопатки, - а локти и колени скрутили в один большой узел; бросили одного. Кое-как сумел приподнять голову: темно, совершенно темно. По вывороченным плечам полоснуло болью, но он продолжал тянуть шею, перекатываясь по полу - и наконец увидел в окружающей темноте светлый треугольник - маленький кусок спальни: угол кровати со свесившейся периной, чьи-то ноги, целый лес ног - в расхлябанных военных ботинках, и в высоких сапогах, и в драных башмаках. Когда среди чужих ног мелькнуло что-то светлое, знакомое - подол Клариной рубахи, - закричал. Кричал так громко, что сам оглох от собственного крика. Потом почувствовал удар в бок - мир крутанулся, а в рот воткнулся тугой ком ткани в шершавинках кружева - чепчик. Вставили вместо кляпа. Откуда-то сверху надвинулось, опустилось и накрыло с головой тяжелое душное облако.

Дергался под этим облаком, не понимая, где верх, а где низ, куда делись его руки и ноги, да и есть ли они у него, где, наконец, кончается эта удушливая темнота, - так долго, что, кажется, истер до волдырей лоб и щеки. Облако пахло чем-то знакомым, даже родным. Вдруг понял: вовсе не облако то, а перина, верная его утиная перина - истончившаяся за много лет, но все еще теплая, помнящая и промозглость казенной квартирки в шульгаузе, и лютые зимы на хуторе, пропитавшаяся запахами - его и любимой женщины. А сама женщина - прекрасная, с тонкими руками и гладкими волосами - находилась сейчас по ту сторону, снаружи. Нужно было непременно пробраться к ней и спасти. Но от кого спасти, Бах позабыл. И как зовут ту женщину - позабыл. И как он оказался здесь, под периной, - позабыл также...

* * *

Когда выбрался, было уже светло. Сквозь щели закрытых ставней лился розовый утренний свет. Одно окно – в кухне – было разбито. Дверь – закрыта. На полу валялся рассыпанный горох вперемешку с битым стеклом. У двери, аккуратно прислоненные к косяку, стояли вилы.

Лицо отекло и горело. Ладони, кажется, тоже, но Бах не был уверен: руки и ноги чувствовал плохо. Заерзал, отталкиваясь онемевшими плечами и коленями, червяком дополз до устья печи, под которым был набит большой железный лист – для выпавших угольков. Елозил завязанным на спине узлом о край листа, пока не перетер. Освободив руки, сел, кое-как развязал ноги. Кровь толчками пошла в кисти рук, успевшие распухнуть и посинеть, в ступни, в голову. Память возвращалась так же – толчками.

Сначала, отчетливо и крупно, вспыхнули перед глазами лица: дерзкого, мальчишки, мужика с калмыцкими глазами. Затем – как они забирались в дом. Как хозяйничали на кухне. Как обнаружили Баха.

Он поднялся на ноги. Держась за стену, проковылял через гостиную к спальне. Долго стоял у дверного проема – слушал тишину внутри, не решаясь войти. Наконец толкнул приоткрытую дверь.

Она сидела у окна, лицом к свету, на стуле – Бах видел только ореол распущенных волос, пронизанных солнечными лучами. Пол был завален простынями, подушками, рваными наволочками, юбками, рубахами, порванными нитками бус, ворохами белья из комода. Он пошел по этой одежде и этому белью, утопая босыми ногами в белом и мягком, – к ней.

Шел – и мучительно хотел назвать ее по имени, потому что все остальные слова были сейчас излишни и даже кощунственны. Но легкое имя ее – чистое и светлое, как речная вода, – уплывало куда-то, рассыпалось на отдельные звуки. Он цеплялся за эти звуки, но они выскользывали и растворялись в прозрачном утреннем воздухе. Поверил, что вспомнит, непременно вспомнит имя, как только увидит знакомое лицо. Проковылял к окну, прикрываясь от золотого свечения, словно боясь ослепнуть. Наконец развернулся от света и посмотрел на женщину.

Она была обнажена. Бах впервые видел ее такой – сотворенной из молока и меда, из нежного света и бархатной тени. Тонкие руки ее лежали на округлом животе, прикрывая и защищая. Глаза были закрыты, черты лица неподвижны – она спала. А губы ее – улыбались.

Он хотел зажмуриться, отвернуться, чтобы не видеть этой спокойной и мудрой улыбки, закричать и разбудить женщину, или ударить ее наотмашь по этим улыбающимся губам, или ослепнуть самому, – но ничего этого не мог и только смотрел, смотрел... Было тихо; едва слышно гудел ветер – не снаружи, а где-то внутри Баховой головы, – постепенно усиливаясь, иногда переходя в свист, выдувая и унося куда-то и имя женщины, и остальные имена, и прочие слова, и сами звуки...

* * *

С того дня разговаривать перестал. Имена, слова и звуки скоро вернулись к нему, но какими-то странно легкими и пустыми, как шелуха подсолнечника. Он, верно, мог бы напрячь губы, шевельнуть языком, упереть его в небо и произнести что-нибудь громкое и бессмысленное: го-рох. Или: стек-ло. Или: вилы. Или: Кла-ра. Мог бы, но не знал, хочет ли. И потому предпочитал молчать. Клара не удивилась, а если и удивилась – то ничего не сказала. Когда поняла, что ее редкие вопросы к Баху остаются без ответа, – перестала задавать их вовсе. Возмутись она его безмолвностью, закричи, ударь рассерженно в грудь – может, Бах и не смог бы противиться, разжал бы губы, зашлепал языком. Но Клара была спокойна, словно его бессловесность не заботила ее вовсе. Значит, так тому и быть, понял он.

О случившемся не вспоминали. Перестирали всю одежду и белье – не соленой колодезной водой, а проточной, в Волге: Бах, раздвигая веслом еще тяжелые с зимы льдины, выводил ялик на глубину, а Клара, перегнувшись через борт, стирала и полоскала – подолгу, не жалея краснеющих на холоде рук. Починили и залатали все рваные простыни и наволочки. Выбили на ветру утиную перину. Разбитое окно заткнули тряпками. Дом вымели, пол засыпали новым песком. Вилы убрали в сарай.

Бах вновь стал спать на лавке у печи. Клара не возражала. Приди он как-нибудь ночью к ней в спальню, она бы, верно, и тогда не возражала – стала не то чтобы безразлична к миру вокруг и к самому Баху, но несколько отстранена:

с одинаковым благодушием принимала и хорошую погоду, и дурную, и богатый улов, и скудный.

А еще Клара стала – ласкова. Эта ласковость, внезапно прорезавшаяся в ее голосе, смущала Баха необычайно – напоминала первые месяцы их знакомства, “слепые” уроки через ширму. Когда Бах думал о причинах той ласковости, ему хотелось встать и выйти из дома и никогда более не возвращаться: шагать, быстро шагать прочь, по лесу, по дороге, по степи, не есть, не спать, а лишь бежать, дальше, с глаз долой, вон. А когда не думал – хотелось прикрыть веки и слушать Клару, слушать бесконечно. Да и куда бы он ушел? Некуда было идти: Клара жила здесь, на хуторе. Но – Клара новая, незнакомая.

Красота ее, до этого тонкая и строгая, вдруг налилась особой силой: темнее и выразительнее глянули глаза, пышнее и ярче стали губы, извечная бледность сменилась румянцем, густым, вызывающе розовым. Теперь никто не принял бы ее со спины за подростка – каждое движение выдавало женщину. Бах боялся этой новой женщины, красивой и равнодушно-ласковой, боялся, что она пришла навечно заменить прежнюю Клару, понятную и родную. И только в разгар лета понял, откуда эта новая женщина взялась: Клара ждала ребенка.

Случилось это в июле. Бах тогда сидел на берегу, а Клара, утомленная долгим купанием в Волге, выбиралась из воды по большим камням. Она улыбалась ему своей новой улыбкой, благостной и безмятежной, слегка наклонив голову вбок и отжимая мокрые волосы. Солнце освещало ее фигуру, облепленную мокрой исподней рубахой, – Бах вспомнил вдруг одну из гипсовых статуй в доме мукомола Вагнера. Он смотрел на мягкие округлые линии, стекающие от груди женщины к полному животу и бедрам, и медленно холодел изнутри: осознавал наконец, что же на самом деле случилось с ними тогда, апрельским утром, которое они хотели забыть, выбить в ветер, смыть в Волгу и которое возвращалось к ним сейчас, как возвращается с приливом к берегу выброшенный в волны предмет. А Клара все улыбалась – невозможно, как изваяние, равнодушная к тому, видит ли ее Бах, а если и видит, то что чувствует. Улыбалась, как в то страшное утро. Улыбалась, давно все понимая и осознавая. Улыбалась, как всегда теперь...

* * *

Родить должна была в конце декабря, к Рождеству. В сочельник пришли первые боли, но с наступлением рассвета исчезли. С того дня приходили каждую ночь, со звездами, вместо снов – пока год не перевалил на январь. Клара, бледная, с припухшими губами и огромным животом, беспрестанно ходила по дому: из кухни в гостиную, затем к себе в девичью, затем в пустующие комнаты отца и Тильды, снова на кухню. Спала мало, ела и того меньше. Иногда присаживалась на стул, на кровать – выставив перед собой громадину живота, выгнув спину и откинув растрепанную голову, – но через минуту поднималась опять, брела по нахоженному маршруту, как узник по камере. Нескончаемое шарканье ног по земляному полу и стенание вьюги за окном – вот что Бах запомнил о тех неделях.

Зима была снежная, дом завалило по самые окна – не пройти. Да и не в чем было Кларе гулять – на ее животе не сходилась ни один полушубок, ни одна душегрейка. Потому сидели дома. В декабре Бах еще выходил справить дела: расчистить снег во дворе, раскидать сугробы на крыше. Но с наступлением января надолго оставлять Клару одну боялся, неотлучно был при ней – в первый день года, во второй, в третий... Затянувшееся ожидание измучило обоих. У Клары круги под глазами стали синего цвета, а сами глаза помутнели от усталости и выцвели; волосы, обычно гладкие и блестящие, уложенные в косы и закрученные в тугие кренделя, теперь потеряли блеск, выбивались из прически и неопратно топорщились над висками и лбом. Себя Бах видеть не мог, но в один из вечеров, опустив глаза, в негустой бороде своей заметил внезапную обильную седину.

За прошедшие полгода он так много думал о Кларе и о растущем в ней ребенке, что сейчас, когда пришла пора принимать его в мир, уже устал думать и чувствовать. Поначалу в душе не было ничего, кроме ужаса: мысль о том, что чужое семя, столь чудовищным образом занесенное в чрево любимой женщины, закрепилось и проросло в ней, живет, питается ее соками, набирается сил, – эта мысль заставляла дышать часто и громко, отзывалась липким потом на висках и ладонях. Бах лежал ночами на лавке, без сна, скрестив руки на груди и вытянувшись в струну, чтобы унять мучающую тело крупную дрожь. Слушал ровное дыхание Клары в соседней комнате и покрывался холодной испариной. Мечтал упасть с лавки на земляной пол и расшибить насмерть свою дурацкую никчемную голову.

Потом пришла пора омерзения. Ему виделся маленький кусок плоти – размером с горошину, затем с бобовый стручок, затем с человеческий палец, – который

вызревает внутри Кларино живота, вытягивается и обрастает мясом, корчит рожи, сучит зачатками рук и ног. Похожий на уродливого гнома. На мужика с калмыцкими скулами и звериными глазами. На свиноподобного дерзкого. На худющего пацана с убудочным лицом и кадыкастой шеей. На нерожденных телят, которых Бах видел когда-то в Гнадентале. Чувство гадливости было непреодолимо – Бах перестал даже смотреть на Клару: от одного вида ее неестественно огромного живота и налитых грудей мутило. Мечтал, что однажды утром она проснется и обнаружит на кровати кровавый сгусток – раньше времени народившийся плод.

Когда Кларе стало тяжело ходить – стала быстро уставать, задыхаться на подъеме с Волги, – вдруг навалилась жалость к ней. Посмотрел на нее однажды в сентябре, когда полоскала в реке белье, стоя на камнях и подоткнув повыше юбки: голенастые ноги, костлявые руки, тощая шея с торчащими позвонками – все углами, острое, исхудалое, один только шар живота круглится упруго, вобрал в себя все силы, всю красоту. И стыдно стало за свои гадкие мысли и отвратительные фантазии. Пусть, подумалось, пусть быть этому ребенку, чужому, незнамо какому. Кларе радость – и хорошо. Пусть.

Когда пришла зима, Бах устал от дум и чувств, от сомнений и укоров самому себе. Мыслей не осталось, одна только тревога ожидания. Он ждал этого ребенка едва ли не сильнее самой Клары – не понимая, что он чувствует сейчас, не умея представить, что почувствует при виде ребенка, и желая лишь одного: чтобы эта многомесячная мука наконец закончилась.

В шестой день наступившего года Клара проснулась в мокрой постели – плод готовился выйти на свет. Стала ходить по дому быстрее. Иногда останавливалась, обхватывала спинку стула и громко дышала в потолок, обнажая зубы до десен. Баху показалось, что ей хочется кричать.

К обеду вздумала мести пол. Известно, подобное лечат подобным: желтуху – репой; противную головную боль – вонючим сыром; у прилежно трудящейся матери – и ребенок будет работать на совесть, прокладывая себе дорогу в мир. Вымела весь дом, перечистила посуду, надраила песком самовар. К закату устала – до дрожи в спине.

Ночью пришли боли – но не слабые, ставшие уже привычными за последние дни, а настоящие. Положила на пол у кровати кухонный нож – от Тильды знала, что это уймёт боль. Стояла на ногах – у кровати спинки, у стола, у стула. Сидела

на корточках – держась за печь, за комод, за низкую скамейку. Лежала – на кровати и на лавке. Не кричала – боялась испугать ребенка; только дышала громко, со стиснутыми зубами. Кричи, хотел приказать ей Бах, – но губы, за многие месяцы молчания отвыкшие произносить слова, не слушались.

К утру изнемогла – лежала на постели не шевелясь, даже стонать перестала. Голову запрокинула, глаза прикрыла. Бах единственный раз в жизни ударил ее – по щеке, чтобы проснулась. Пришла в себя – и через мгновение выгнулась дугой, расширяя глаза и хватая ртом воздух: ребенок выходил в мир.

Он упал Баху прямо в руки: сначала голова, крупная, горячая, облепленная липким пухом, с пульсирующим пятном родничка на темени; затем крохотные плечики, красные ручонки со сжатыми кулачками; круглое брюшко с сизой веревкой пуповины; ножки с горошинками пальцев.

Девочка.

Бах держал ее в ладонях – мокрую, скользкую, вертлявую, – боясь уронить и не зная, куда и как положить. Взглянул на Клару – лежит без движения, руки безжизненно свисают с кровати. Опустил ребенка на смятую постель. Оторвал пару лоскутков, перевязал пуповину. Нащупал на полу нож и кое-как перепилил ее, жмурясь от брызжущей крови. Ребенок тотчас раскрыл крошечный рот и закричал, засучил в воздухе скрюченными лапками.

Клара очнулась было, повернула голову на крик, но раскрыть глаза до конца не сумела. Бах завернул младенца в сухое полотенце и положил ей под бок – она только вздохнула благодарно и уткнулась в сверток мокрым от пота лицом. Укрыл обеих утиной периной и вышел вон – в морозное утро.

Пошел из дома, пошел со двора. Уже в лесу остановился, набрал полные пригоршни снега и стал отчаянно тереть лицо, бороду, грудь, ладони – счищать брызнувшую из пуповины кровь, задыхаясь не то от волнения, не то от запоздалой брезгливости. Умывшись, вдруг почувствовал небывалую жажду – и стал есть снег, торопливо глотая хрустящие на зубах ледяные комки и не чувствуя холода в горле. В ушах по-прежнему звенел детский плач. Побрел прочь от этого плача – по сугробам, к реке, – не замечая, что одет в одну лишь рубаху и киргизову безрукавку.

Ноги сами привели к обрыву. Спустились по тропе. Пошли по волжскому льду, утопая по колена в твердом снегу. На середине реки остановились, не умея ни шагнуть дальше, ни повернуть назад. Возможно, просто окоченели. Бах запрокинул голову в сизое небо, завешенное белесыми облаками, и с облегчением понял, что плача не слышит: лишь ветер свистел в ушах да раздавался вдали тонкий переливчатый звон. Бубенцы?

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

[Gnadental – в переводе с немецкого: благодатная долина.

2

[Бурмет – грубая хлопчатобумажная ткань.

Купить: <https://telnovel.com/ru/guzel-yahina/deti-moi>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)